ISSN 0131—0097

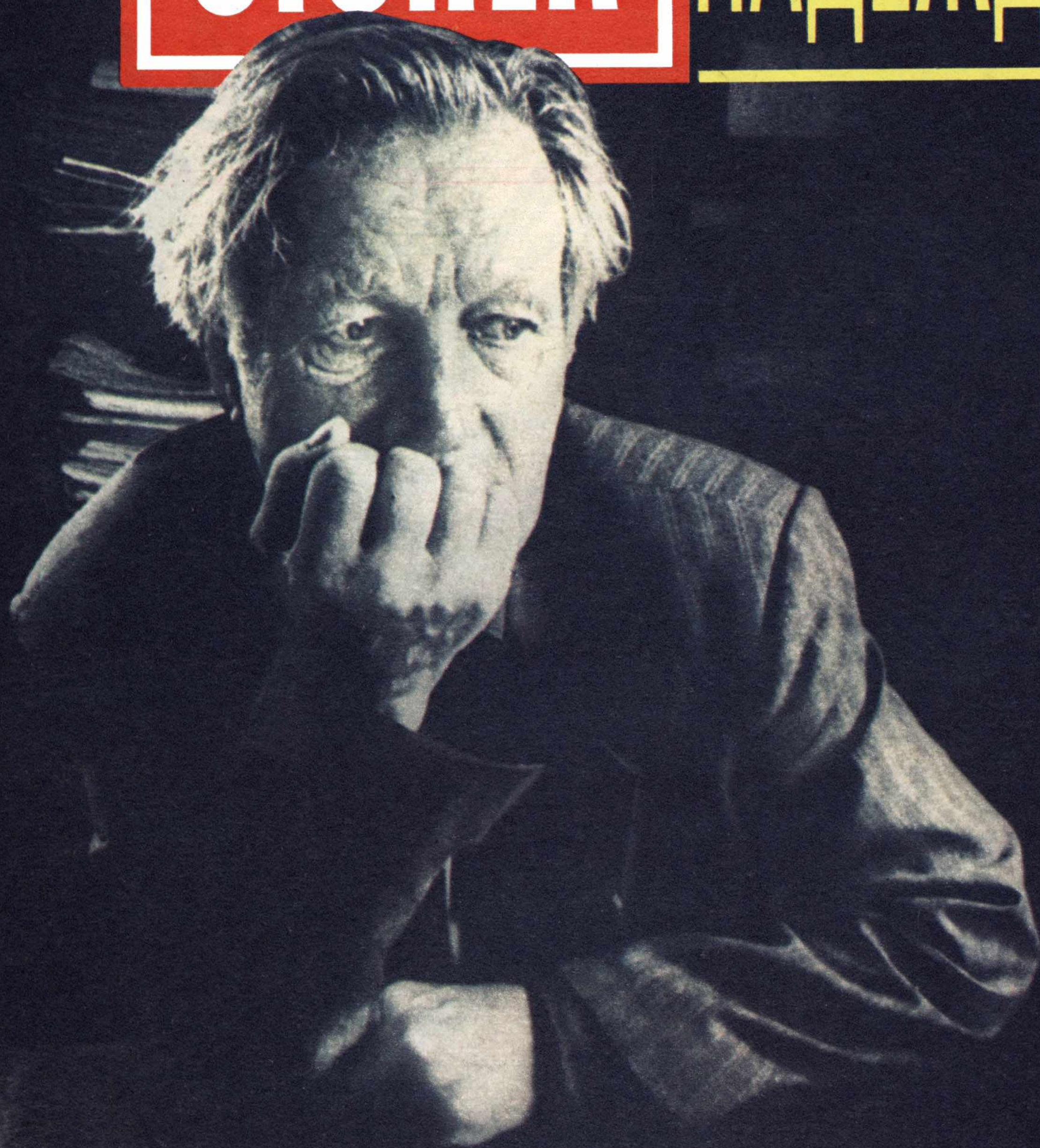
ИЮЛЬ № 31 1991

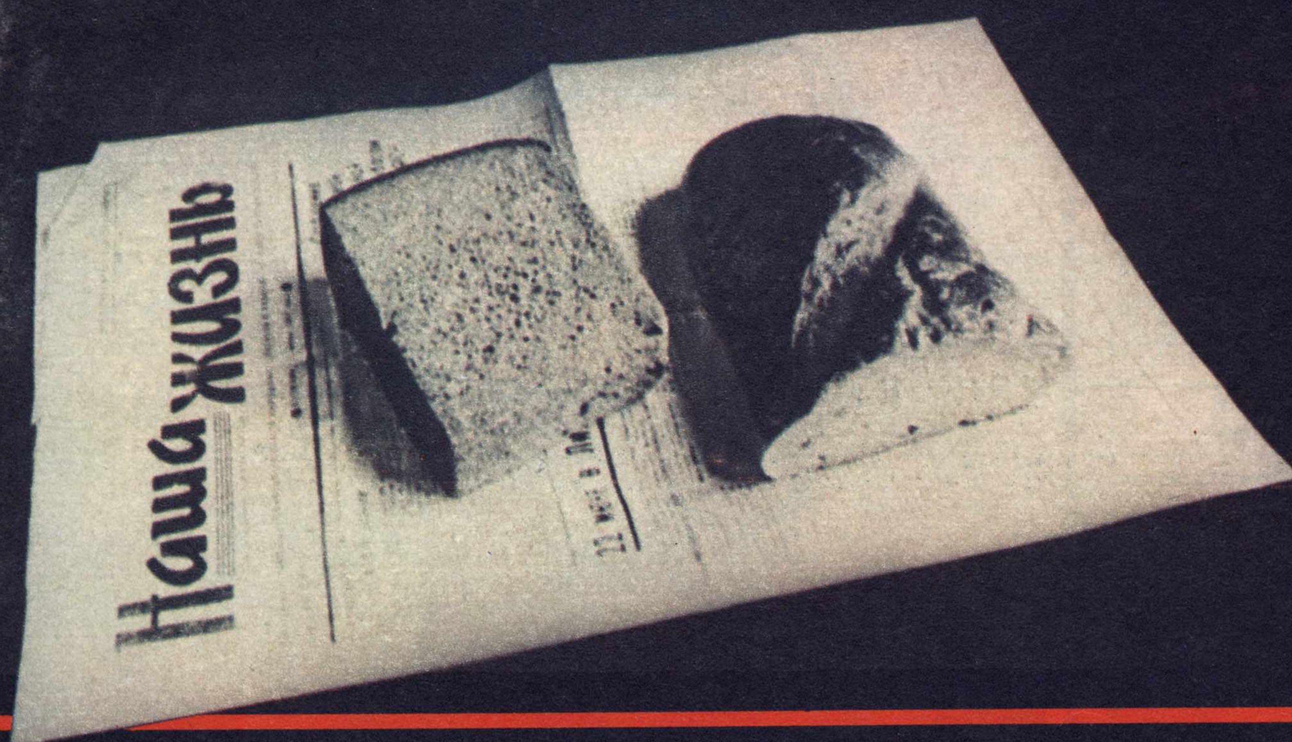
THE WEEKLY MAGAZINE

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

НАДЕЖДЫ НА ХЛЕБ







ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Выходит с 1 апреля 1923 года

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

№ 31 (3341)

27 июля — 3 августа

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Фото Сергея ПЕТРУХИНА (см. в номере материал Павла Никитина «Нам без талонов не прожить»)

Оформление Е. М. КАЗАКОВА
при участии О. И. КОЗАК.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.
Цена подписки на год — 46 руб. 80 коп.,
на полгода — 23 руб. 40 коп.,
на квартал — 11 руб. 70 коп.
Цена одного номера в розницу — 1 рубль.

Сдано в набор 08.07.91. Подписано к печати 23.07.91. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 1 790 000 экз. Заказ № 660. Цена 1 рубль.

Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 251-90-55; Справки по рекламе — 212-12-00.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Издательство ЦК КПСС «Правда». Типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Этимология некоторых слов иногда красноречивее говорит о каком-либо явлении нашей жизни, чем длинный публицистический пассаж.
Пайка хлеба, перед которой сидит человек, на обложке журнала. Пайка — от слова «паек». Пайки бывали разные — спецпаек, доппаек. Но это именно пайка — лагерная, блокадная, военная. Во времена, когда одна половина мужчин воевала, а другая — сидела, слово «пайка» было на устах.
И вот сидит современный немолодой человек из российского города с символическим названием Лихославль перед хлебной пайкой, полученной по карточкам.
А знаете, какая наша общесоюзная среднедушевая пайка? Сколько мы потребляем хлеба? 350 граммов в день. Много это или мало? Если есть овощи, мясо, творог — много. Но где они — овощи, мясо, творог? Правда, сюда входит и то, что кладется скоту в кормушки.
В прежние годы в российских нечерноземных областях потребление хлеба в деревнях до килограмма на душу в день выходило. Это на стариковскую душу, обитавшую в тех деревнях. Но корить крестьянина в скармливании печеного хлеба скоту было бесполезно при дороговизне и нехватке комбикорма.
Хлеб в кормушке — кусок свинины к праздничному столу. Сейчас и хлеб небывало вздорожал. А мясо?
Сколько нравственных и социальных, экономических и международных узлов завязано вокруг хлеба! Ностальгический вздох горожанина — где он, филипповский калач? Вопрос американского фермера: и нынче повезут его зерно за океан? Гневный крик русского крестьянина: сколько ж тонн пшеницы я должен отдать за трактор! Цепь ассоциаций можно длить: вспомнить пекаря с его каторжным, почти безмашинным трудом, мукомола, которому не из чего сформировать помольную партию; агронома, списывающего заросшее сорняками поле.
Сегодня, в пик жатвы, идущей по стране, очередной жатвы со всеми ее бедами и страстями, мы решили дать серию материалов, посвященных хлебу. Без религиозных всхлипов, без грозных запросов по начальству поговорить о хлебе, устами крестьянина и горожанина, ученого и журналиста. Напомнить об истинах вечных и сиюминутных, проблемах простых и бесконечно сложных.

ОГОНЕК НАДЕЖДЫ НА ХЛЕБ

НА КОГО КРЕСТЬЯНИН СЕРДИТСЯ?

Замира ИБРАГИМОВА, собственный корреспондент «Огонька»
Фото Сергея ПЕТРУХИНА

Алтай, пшеничный, медовый, молочный Алтай, что на полях твоих нынче, что в душах крестьянских?

Смоленский район — один из шестидесяти районов края — благословенный уголок в предгорье: и хлебный колос щедр, и вишня плодоносит, и нежная греча вызревает, и свекле сахарной только успевай кланяться. Бия и Катунь тут сливаются в великую Обь. Душистые луга изобильны, и поля от близо-



сти гор не так беззащитны перед прихотями солнца, как степные.

Из ста тысяч гектаров пашни шестьдесят тысяч засеваются зерновыми, в том числе твердой пшеницей, и урожайность смоленских хлебов стабильно выше среднекраевой. Если в крае — 15, то в районе — под 26, если в крае — 12, то у смоленцев больше 22 центнеров с гектара. И этим летом посевы радуют: у степняков засуха, смоленцы осторожно (из суеверия) прикидывают — по 25 соберем, коли ничего чрезвычайного...

Жить бы да радоваться. Не сушит, не трясет, не заливает — поля и огороды кормят, сады балуют.

Но... «хоть бы встретить где-нибудь тень довольства своей судьбой», как писал в прошлом веке один ссыльный исследователь положения работников Сибири.

О довольстве и речи нет. Только и заговаривают для того, чтобы недовольство выказать. Очень возбуждает сельского жителя собеседник-горожанин. Город, похоже, стал для крестьян олицетворением смуты, хаоса, наглости, притеснения.

* * *

Из разговоров у хлебного поля, на мельнице, в пекарне:

— И чем в Москве застой не понравился? Жили как люди.

— После фронта такого выжили, а сейчас все развалили!

— Горбачев слабость сделал — дал волю всем, а она боком вышла.

— Горбачев молодец — договорился разоружиться.

— Про мир-то он решил, а дома хозяйство запустил.

— Раздавать землю — это кто там в Москве с ума сошел?!

— Те, которые далеки от этой земли, и будоражат весь народ.

— Болтыши! Пустоумы! Только бы слышали их!

— Все равно что рубаху разорвать на десятерых! То-то оденемся!

— Сейчас я в совхозе на сто тысяч рублей произвожу продукции, а что они с меня получат, если я возьму пятьдесят гектаров?

— А нам чего ждать? Одежки нету, обувки нету, а хлеб — работаем сутками...

— Надо всем миром ставить вопрос, чтобы цены старые были.

— Ох, и заплутали! Зерна получаем все больше, молока — наращиваем, а масла и по талонам нету.

— Талон этот ввели, чтобы никого не кормить.

— Народ очень интересуется, куда все девается.

— Бензин продали за границу, а земледелец — горюй!

— Ценами этими пугаем друг дружку. Город — деревню, деревня — город. А того не понять, что все одной веревочкой связаны.

— Вот уж и детей боятся по таким ценам родить!

— Фермеры их накормят! Кто это затевает, тот сам не пахал. Это чтобы совсем все повалить.

— Ой, строгого сейчас батьку надо! Побаловались...

Разговариваю с людьми в основном немолодыми, сверстниками моими и постарше. Трудяги. Алексей Николаевич Селиванов — тракторист-машинист первого класса, сорок пять лет «пашет и пашет», ему бы уже на пенсию, да он бригаде нужен и ему, видно, бригада нужна. Николай Петрович Гераскевич — лауреат Государственной премии за свеклу, образование — шесть классов, но в поле, где он тоже уже пятый десяток, нет ему, говорят, равных по профессиональной грамоте и культуре. Галина Леонтьевна Аласеева заведует мельницей аж с шестидесятого года...

И есть у них право, у этих наработавшихся вдосталь людей, думать, как чувствуется, говорить, как думается. И хоть вздрагиваю при словах про «строгого батьку», ловлю себя невольно на разделенности тоски по старым ценам, на том же неверии в новые рецепты всеобщего счастья, которое крестьяне воспринимают как чье-то искусственное измышление.

* * *

Пять всего на район «фермеров» — слово это здесь не любят, в ходу — «крестьянское хозяйство» — посеялись в этом году, на двухстах тридцати гектарах — пшеница, овес, гречиха, картошка, многолетние травы... Пятачок на безбрежной пашне района, и даже если втрое превзойдут индивидуалы результат коллективного поля, говорить всерьез покуда еще не о чем. Разве что об опыте, наверное, удача первых подвигнет других на собственный риск. Пока же к смельчакам приглядываются, даже районка о них не пишет, и меня просили не тревожить начинающих хозяев пустыми визитами: осенью вот приезжайте — что получат, то соберут.

Бог им в помощь — хочется сказать, и не только по доброй традиции, но и по не очень добрым обстоятельствам, в которые ныне угодило крестьянство: надеяться ему, кажется, не на кого, кроме как на себя да на Бога. Об этом — дальше, а к разговорам — еще два информационных дополнения.

Про детей, которых боятся по таким ценам родить. Не для черного словца брошено. По сообщению статуправления, опубликованному в «Алтайской правде» в первые три месяца 1991 года, «коэффициент рождаемости был одним из самых низких за послевоенные годы».

И про талоны на масло... О них ли печалиться в районе, который в год производит тридцать две с половиной тысячи тонн молока? Увы! Беседую с директором Смоленского маслосырзавода В. Н. Скочковским, объясняет:

— Делаем 650 тонн масла в год. Району из него — по три тонны в месяц. По талону положено 200 граммов в месяц на человека, но и эти двести не купишь.

Как не купишь куска твердого сыра, хотя завод производит его в тех же количествах — 650 тонн в год. Но району оставляют полтонны в месяц. Все отдается туда, в ненасытный город.

Нельзя ли производить больше? Тут же, на берегу молочной реки? Наивный вопрос. Много ли пользы в том, что закупки молока за минувшую пятилетку возросли в крае на двадцать процентов, если мощности его переработки за то же время — лишь на шесть?

В итоге — привычная картина. Есть колбасный цех — нет колбасы. Есть маслосыроваренное производство — нет ни сыра, ни масла. Есть линия по производству кукурузных палочек — нет в магазине самих палочек. Есть пивкомбинат — нет пива.

Но... есть пекарня, есть хлебозавод — и есть хлеб. Пока!

* * *

Считают все, считают везде, точно спотыкаются о цифры на каждом шагу.

— Вот она, фляга молочная. Стоила двадцать, сейчас 41, а коммерсанты предлагают одну за двести. И где они их наворовали? Мне надо четыреста килограммов молока сдать, чтобы одну флягу купить. И то если по полтиннику, а совхоз у крестьянина покупает молоко по 46 копеек.

— Центнер комбикорма был 17, сейчас 30 рублей, тонна гранулированного суперфосфата — 65—75, сейчас — 250—270. Шибко дорогие продукты получаются для того, кто их производит.

Считают, затылки чешут, выводы делают и тактические, и стратегические.

Совхоз «Буревестник» — экономически благополучное хозяйство, самое стабильное в районе, постоянно увеличивающее производство сельхозпродукции. Директор Катин объясняет: «Купили мы для совхоза бензовоз по оптовой цене — 20 148 рублей. Рядовую пшеницу сдаем по 20 рублей за центнер. Это значит, только за один бензовоз надо сдать тысячу центнеров пшеницы. За комбайн «Дон» — четыре тысячи триста центнеров... Если цены не пересмотрят, мы к концу года сгорим. При двадцати пяти центнерах зерновых, двухстах пятидесяти центнерах свеклы, при надоях три двести и выше сгорим экономически! Тут фермеру лучше тихо умирать, не родившись: сколько же он должен произвести зерна или мяса, чтобы хоть тот же «уазик» заиметь?»

Если «Буревестник» сгорит... По подсчетам экономиста Г. П. Бабанова, банкротами окажутся более половины хозяйств. И эта ситуация, на его взгляд, вынуждает крестьянина думать о себе и только о себе: пшеницу, например, выгоднее оставлять и скармливать скоту, что будет дешевле, чем втридорога покупать плохие корма у государства.

Крестьяне считают. Не шумно, но всерьез. Продналог и госзаказ, опирающиеся на тот же порочный, но нетленный принцип — от достигнутого, лишают товаропроизводителей экономической свободы. А материально-техническое обеспечение, и без того не завидное, сейчас и вовсе пересохло.

Обменные отношения с промышленностью саркастически называют здесь «бартером ягненка с волком». Пересчитывают бычка на штаны, молоко — на отопительные котлы, зерно — на автомобиль и затихают, как природа перед грозой.

Но нет-нет да и слышатся ее тревожные раскаты:

— Не будем сдавать хлеб, если не изменятся цены на промышленные товары.

— Крестьянин-то выживает как-никак, а вот горожанин...

— Нам главное — хлеб вырастить. А там посмотрим, как его отдавать.

* * *

У них и верно, как писали прежде, «все думы об урожае». Но не во имя победных рапортов и не ради наградного звездопада, как бывало прежде. И не с альтруистической целью обеспечить горожанам сытую зимовку. Сегодня им нужен урожай для того, чтобы стать хозяевами положения. Чтобы подняться с колен, на которых их держат городские монополии.

Значит, мы можем быть спокойны — соберут все до последнего зернышка.

Жаркий летний день, а меня знобило от леденящего предвидения: что будет, если вместо урожая город получит от деревни ультиматум...

Разговаривая со старым агрономом, высказала робкую надежду:

— Где вы его спрячете — хлеб? Нету у вас емкостей для хранения.

Усмехнулся в ответ:

— По дворам развезем.

И что тогда город? Отправит вооруженные продотряды? Но это уже было. Было такое в нашей нашпигованной драмами и трагедиями истории. Ужели реформы в родимом отечестве обречены на кровавые исходы?

* * *

Меньше всего автор претендует на незавидную роль Кассандры с ее мрачными пророчествами. И все же... Аграрники Новосибирской области не стали ждать урожая — обратились к правительству республики с ультимативным письмом, где выдвигают ряд требований (по материально-техническому снабжению, ценам, росту зарплаты и др.). И в случае их неудовлетворения обещают прекратить поставки сельхозпродукции.

Алтайский край.

Анатолий ГОЛОВКОВ

На фоне разобщенности, надоевшего всем спора коммунистов с демократами, демократов с либералами, радикалов с республиканцами, на фоне самых насущных проблем каждодневной жизни можем ли мы позволить себе небольшую антиутопию: вот просыпаемся утречком, а партий-то и нету ни одной... Ни КПСС, ни ДПР, ни других. Есть народ, желающий выжить после коммунистической катастрофы, чтобы хоть как-то прокормиться, приодеться, построить сносное жилище... А вот, оказывается, без партий никак нельзя. И не только большевикам, но и людям, называющим себя демократами и столько сил положившим на убиение «6-й статьи», трудно отказаться от стратегии, следуя которой «счастье народное» куется под непременным диктатом руководящей и направляющей силы.

Декларация «За объединение сил демократии и реформ» опубликована и подписана людьми, в авторитете которых сомневаться не приходится. Но столь разных, что объединение их еще предстоит понять. Прежде всего следовало бы задаться вопросом: какие причины вдруг заставили собраться вместе тех, кто еще не так давно политически противостоял друг другу? Хотелось бы верить — ради укрепления демократических позиций, с таким трудом завоеванных за последние годы, ускорения радикальных реформ. Преодоления нового политического кризиса, который окажется неизбежен при успешном продолжении ново-огаревского процесса «9 плюс 1». Ведь подписание союзного договора и создание нового государства на руинах бывшей империи потребуют роспуска союзного парламента, Съезда народных депутатов, новых выборов.

Но все это, простите, из области эмоций. И дело не во взаимных симпатиях и антипатиях подписантов. Гораздо интереснее разобраться в глубинных причинах стремления водрузить над страной очередной великопартийный конгломерат.

Перестройка, задуманная старым Политбюро ЦК КПСС как очищение фасада коммунистического здания от ракушек брежневско-сусловского догматизма, потерпела сокрушительное поражение. По-другому и быть не могло: купив новую кровать для умирающего и постелив на нее новое белье, от летального исхода спасти нельзя. Потребовалось несколько лет, чтобы наивная вера в способность КПСС реформироваться рухнула под гусеницами танков в Тбилиси, Баку, Вильнюсе... Сознание людей, конечно, меняется. Но не до такой же степени в конце концов, чтоб даже на первом Съезде народных депутатов в присутствии Андрея Дмитриевича Сахарова кто-то мог предположить, что бывшие члены Политбюро, работники аппарата ЦК КПСС окажутся в одной команде с Гавриилом Поповым и Анатолием Собчаком.

Вполне вероятно, что и у Аркадия Вольского, и у Александра Яковлева, и у Эдуарда Шеварднадзе было достаточно времени для того, чтобы многое понять и переосмыслить о «матери-пар-

НОВОЕ ЭХО СО СТАРОЙ ПЛОЩАДИ

тии», которая вскормила их и взрастила, дала все: и карьеру, и относительное благополучие. Достаточно упомянуть,что Яковлев, ненавидимый командой Лигачева, всегда слыл как прогрессист и либерал. Что талантливый организатор промышленности Аркадий Вольский не всегда, мягко выражаясь, находил понимание в среде аппарата ЦК КПСС (и в Нагорный Карабах из благодарности никого еще не посылали). Равно как и авторитет Шеварднадзе высок по сей день благодаря его усилиям по прекращению афганской войны, благородным поступкам, вроде отставки с поста министра иностранных дел или выхода из КПСС.

Что же касается мэров двух крупнейших российских городов и непримиримого Станислава Шаталина, то эти люди, напротив, имели возможность пройти аппаратную закалку не в самое легкое для страны время, многократно убедиться в том, что одними митингами и критикой старого руководства невозможно вывести страну из кризиса. Обо всех этих добрых людях, подписавших заявление о намерении создать новое движение, можно было бы сказать еще очень много. Но важнее другое: для нас с вами всегда заметнее было противостояние двух номенклатур — старой, состоящей сплошь из партийцев-большевиков, и новой, которая начала складываться тогда, когда в некоторых регионах страны пришли к власти демократы. Старая в большинстве своем не смогла принять радикальные экономические перемены. Новая столкнулась с бешеным сопротивлением местной бюрократии. Куда незаметнее, таинственнее оказался другой процесс — консолидации этих двух номенклатур. Сначала господа демократы поняли, что без старого аппарата им не справиться с потоком нахлынувших хозяйственных задач. Затем и та, и другая номенклатура пришла к убеждению, что требуется и политическое объединение для совместного выживания. По всей вероятности, так они поначалу подсознательно протянули другу другу руки, решив наконец создать мощное демократическое движение, не отрицая, что в скором времени оно может трансформироваться в партию.

Инициаторы спешат. Не говоря уже о том, что от текста заявления веет большевистским напором («ждать дальше нельзя»). Революционно-кратчайший срок понадобился, чтобы создать оргкомитет по образованию Объединенной демократической партии (ОДП) страны. Инициативная группа, родившая оргкомитет, рассуждала на своем заседании в более решительном духе, чем «девятка», объявившая о новом Движении. Съезд партии намечено провести не позднее сентября, а главной задачей выдвигается подготовка к выборам в союзные органы государственной власти, формирование «правительства народного согласия» (о котором радикалы твердили еще на весенних митингах в Москве). Между тем 25 августа ожидается учредительный съезд «Демократической партии коммунистов России», детища вице-президента России и члена КПСС Александра Руцкого, который лелеет надежду создать альтернативу полозковцам, намекая на то, что не менее 4 миллионов (?) из числа сторонников программы КП РСФСР готовы влиться в новую организацию, а затем в Движение демократических реформ. И поскольку главной задачей этой партии выдвигается не развал, а, напротив, помощь КПСС, которая «катастрофически распадается», то можно себе представить, что за коктейль мы получим осенью.

Мы будем иметь Движение, состоящее из кого угодно, лишь бы разделяли декларацию «девятки» (без достаточно строгой программы), плюс — предположительно — партию Руцкого; Объединенную демократическую партию сугубо антикоммунистической ориентации, не считая других, среди которых можно было бы выделить ДПР (партию Николая Травкина) и отколовшееся от нее крыло, которое Аркадий Мурашов и Гарри Каспаров преобразуют в так называемый «Либеральный союз».

Пока же самую активную деятельность развивает новорожденное Движение демократических реформ, точнее, его оргкомитет.

Трудно, однако, не разделить мнения тех политических наблюдателей, которые считают, что эскалация создания ДДР (при явных симпатиях к нему Михаила Горбачева и одобрительном молчании Старой площади) смахивает на откровенную и отчаянную попытку спасти КПСС от краха. Не случайно первой реакцией общественности после публикации заявления «девятки» был не столько «одобрямс», сколько недоверие и сомнения со всех сторон.

Партийные ортодоксы заподозрили некоторых членов «девятки» в двурушничестве, сравнив текст с программным заявлением XXVIII съезда КПСС «К гуманному, демократическому социализму», где, как писала «Правда», «пусть и не в таких словах, но во всем контексте... сказано то же, что и инициаторами движения». Радикалы из среды демократов заметили, что среди подписавших воззвание нет ни одного лидера рабочего движения, ни одного представителя из других республик, сплошь интеллектуальная элита Москвы и Ленинграда. Жириновский, наверное, просто посмеивается, поправляя бабочку на манишке.

...Из каждой попытки реформировать старый политический строй — вправо ли, влево — торчат до боли знакомые, мохнатые тоталитарные уши. Вовсе не хотелось бы бросать тень на того или иного общественного деятеля, независимо от того, был ли он раньше членом Политбюро или вознесся на волне народного депутатства. И в том, что известные всей стране люди сумели преодолеть разногласия и протянули друг другу руки, нет ничего дурного. Скорее, наоборот. Если это объединение не принесет нам всем ощутимой пользы в ближайшее время, то хотя бы порадует Президента, который еще несколько лет назад мечтал увидеть всех «в одной лодке». Настораживает иное: спешка, нервозность и противоречивые заявления для прессы, которые сопутствуют попытке сколотить общенародное движение из «наиболее сознательной, конструктивной и ответственной части общества».

Помимо этого, уже сейчас отчетливо видно, что Объединенная демократическая партия, призванная стать ядром Движения, может превратиться в нового монстра, который заменит КПСС на исторической арене. Поверить в ее эффективность как партии парламентского типа, добивающейся большинства во всех сферах власти, лично мне трудновато. Не произойдет ли трансформация КПСС в ОДП? Ведь очевидно, что членами ОДП станут не столько новые люди, свободные от старых большевистских предрассудков, сколько те же самые активные граждане, отнюдь не избавленные от тоталитарного сознания, в том числе и бывшие партаппаратчики, которые по крайней мере отлично знают, как организовать райком или горком. Не получим ли мы в этом случае очередную жесткую политическую структуру, которая снова опутает страну, заставит подчиняться «партийной дисциплине», будет устраивать чистки и проработки нерадивых партийцев, проникнет постепенно во все сферы государственной и общественной жизни?

Есть определенные сомнения и насчет того, что уставший от неразберихи и экономических шатаний народ валом повалит в новые партии. Вчера его призывали вступать в «Демократическую Россию», и участие в этом движении не только дало людям уверенность в своих силах, но и обеспечило победу на последних выборах Попову, Собчаку, Ельцину...Однако ни на йоту не улучшило материального положения населения. Жить стало хуже, дороговизна растет, с нею и политическая апатия. Предвыборный ажиотаж 1989 года, искренний, с верою, едва ли не со слезою и хоругвями, уже, похоже, не вернуть никакими посулами! Нельзя же на самом деле бесконечно эксплуатировать надежду людей на лучшее, заставляя их бесконечно ждать — то очередного пленума, то съезда, то выборов. Нельзя одними политическими методами по формуле «кто кого переиграет» пытаться решить сугубо экономические проблемы.

Так не довольно ли с нас партий?

Сегодня уже и так немудрено заблудиться в обилии политических структур, бывших и новых, старых и зарождающихся. Их уже столько, что лишь для того, чтобы ознакомиться со всеми программами и уставами, нужны долгие месяцы. Тем временем российский Съезд народных депутатов, разбитых на многочисленные фракции, в которых уже тоже нет единства ни среди коммунистов, ни среди демократов, оказался не в состоянии сделать простую вещь: выбрать Председателя Верховного Совета республики и его заместителей. Все смешалось в доме Облонских! Союзный парламент под управлением Анатолия Лукьянова принимает законы, которые не спешат выполнять на местах.

А рубль не конвертируется, частная собственность по-настоящему не защищена, старая номенклатура приступила к «приватизации» дач и квартир за бесценок, московскую прописку уже легально начнут скупать. Население нищает, сотни оборотистых деловых людей стремительно обогащаются — вот лишь некоторые приметы полуреформ, полумер, упрямства партийных вельмож, их страха перед неминуемым переходом «суверенных государств» к загадочным для большинства населения рыночным капиталистическим отношениям.

Вдумаемся же бесстрастно: кризис власти в России и в Центре очевиден. Но разве не мы с вами с таким шумом и переживаниями выбирали народных депутатов? Если эта власть не сумела повернуть страну на путь демократии и радикальных реформ, таких, за которые Президенту не пришлось бы краснеть на совещании «большой семерки», сумеют ли справиться с этими задачами авторы новых партий и движений?

Доживем до осени, а там скорее всего общественные силы разделятся на три части. При определенных усилиях и соответствующей рекламе Движение демократических реформ наберет определенное число сторонников, считающих, что любое объединение демократов «против тоталитаризма» лучше, чем разгул реакции. Объединенная демократическая партия, если ей суждено родиться, со временем объединит радикалов. Однако все это еще не есть гарантия, что КПСС отступит без боя. Напротив: чем сильнее будет Объединенная демократическая партия, тем прочнее окажутся шансы КПСС. Часть ее (главным образом несгибаемый партаппарат) постепенно перейдет в оппозицию. Да не с пустым карманом, а с многомиллиардным состоянием (в том числе и в конвертируемой валюте), усиленно отмываемым нынче в коммерческих банках, с завидной собственностью, которую будет все труднее приватизировать. Другие же члены КПСС, на которых уповает Движение, очутятся в мутных волнах «второй революции», спасаясь на первом попавшемся плоту.

А теперь при полном уважении к выбору, который сделали для себя политики, подписавшие заявление «девятки», вообразите себе меру ответственности, когда на всю страну звучит историческое «Есть такая партия!».

Владимир СЕМЕНЮК,
доктор философских наук

ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЕ

Похоже, столица Белоруссии становится в последнее время центром притяжения разношерстных сил реакции. После неудавшихся путчей в Вильнюсе и Риге сюда зачастили их организаторы, чтобы излить свою душу перед услужливо предоставляемыми им телекамерами, а заодно и наладить выпуск интерфронтовской продукции, призванной, судя по всему, готовить почву для очередной попытки свержения «национал-фашистских, буржуазных режимов в Прибалтике». Недавно с «лекциями» сюда же пожаловали печально знаменитые «борцы с сионизмом» А. Романенко из Ленинграда и Д. Васильев из Москвы. Последний (он же лидер «Памяти») прибыл в Минск в окружении своей «свиты» — молодых людей в черной полувоенной форме, с кожаными ремнями. «Придет время, и на портупеи придется что-то надеть, может быть, и оружие»,— простодушно заявил он своим слушателям в весьма солидной академической аудитории, заодно просветив ученых мужей насчет сиономасонских происков, вызвавших Октябрьскую революцию и нынешнюю перестройку.

Но то были лишь «цветочки». «Ягодки» же минчанам пришлось узреть, когда их родной город стал местом сбора сторонников Нины Андреевой, проведших здесь 13—14 июля свою I Всесоюзную конференцию сторонников большевистской платформы в КПСС.

Пока окончательно неясно, почему выбор пал на Минск. Возможно, потому, что республиканский филиал возглавляемого Н. Андреевой «Единства» является передовым отрядом этого «революционного» движения. О чем можно судить хотя бы по тому, что половина делегатов, прибывших на конференцию (265 из 533), оказались из Белоруссии.

Не исключено, что сказались симпатии, которые в консервативных кругах местной партократии питают к взглядам дамы с известными «принципами». Во всяком случае, в одном из интервью первый заместитель председателя республиканского общества «Знание» Л. А. Левчук признался, что со стороны отдела ЦК КПБ по связям с общественными организациями было предпринято несколько попыток «обязать» его включиться в подготовку конференции (сделать заявку на зал, заняться вопросами размещения и транспортного обслуживания делегатов): «Нас уведомили, что в Белоруссию, а точнее, к руководству компартии республики, обратилась с письмом Нина Андреева. Учитывая близость позиции большевистской платформы в КПСС, одним из руководителей которой она является, и позиции руководства компартии республики, что особенно проявилось на апрельском Пленуме ЦК КПСС, она обратилась с просьбой разрешить большевистской платформе провести в Минске теоретическую конференцию своих сторонников. Предполагалось пригласить в наш город человек 800—900 со всего Союза».

К чести руководителей общества «Знание», они отказались выполнять это указание.

И все же старания товарищей из ЦК не остались безрезультатными. Минский обком КПБ предоставил Н. Андреевой и К° свой общественно-политический центр. Нашлись места в обычно переполненных в это время гостиницах и общежитиях города. Была обеспечена и надежная охрана со стороны минской милиции.

Последнее, кстати, оказалось нелишним. На свои заседания ниноандреевцам приходилось пробираться через ряды недружелюбных, хмурых, улюлюкающих пикетчиков, сквозь частокол осуждающих плакатов: «Сталинисты — вон из Минска», «Наследники Сталина — вон из Белоруссии», «Позор руководству ЦК КПБ — союзнику Нины Андреевой».

И, видимо, у Н. Андреевой были веские основания, закрывая конференцию, «горячо поблагодарить советско-партийный аппарат Белорусской республики за помощь и содействие».

Тем редким представителям прессы, радио и телевидения, кому удалось получить разрешение на вход в зал заседаний, определенно повезло. Они стали свидетелями незабываемого политического зрелища. В переполненном зале чинно восседали «наследники и правопреемники» тех самых железных большевиков, которые в октябре 1917 года завоевали Россию, а затем перевороши ли ее «до основанья». С трибуны лились вдохновенные речи в защиту Нины Андреевой и... Иосифа Виссарионовича, гремели проклятия по адресу ренегатов, перерожденцев, ревизионистов, контрреволюционеров, социал-предателей, неоменьшевиков, разваливающих КПСС и Советский Союз, клеймились позором перестройка (чаще всего с эпитетом «Горбоперестройка» или даже «гробостройка») и ее инициаторы, вскрывались коварные происки империализма, «всевозможных» троцкистов и сиономасонов. Раздавались призывы «сорвать преступные планы реставрации капитализма в СССР», защитить социализм и коммунизм.

Зал клокотал революционной фразой, взрывался от классовой ненависти к врагам, наступающим «по всему фронту». И невольно казалось, будто какая-то фантастическая машина отбросила время на несколько десятилетий назад — к знаменитым процессам 30—50-х годов.

Тот же пафос бескомпромиссности, нетерпимости, непоколебимой самонадеянности. Тот же поразительно однобокий, примитивно-односторонний взгляд на мир, не признающий никаких оттенков и полутонов, видящий все в черно-белой плоскости, делящий людей на наших и не наших, красных и белых, пытающийся втиснуть сложную и противоречивую реальность в прокрустово ложе замшелых окостеневших догм. Та же неуемная страсть к выискиванию «еретиков» даже в собственных рядах, та же неистребимая жажда предавать анафеме, отлучать, карать.

Но, странное дело, несмотря на это зловещее сходство, происходящее не воспринималось исключительно в мрачных, трагических тонах. Скорее, оно вызывало легкую ироническую улыбку. Страшные речи не страшили. Проклятия не беспокоили.

«Наследники и правопреемники» выглядели лишь жалкой тенью некогда грозного и всесильного «ордена», призраками из недалекого прошлого, еще способными расточать угрозы, но уже лишенными возможности претворять их в жизнь.

Поистине, история, как давно подмечено, иногда повторяется. Только вначале она предстает как трагедия, а затем — как фарс.

Грандиозным, хотя далеко не безобидным, фарсом выглядели прорывающиеся почти во всех выступлениях ностальгические стенания по безвозвратно уходящему прошлому, переходящие порой в истерику призывы вернуть былое партократическое всевластие. «Надо покончить с таким безобразием, как многопартийность» (И. Веремей, Киев). «Пора появиться новому матросу Железняку и сказать всем этим депутатам: «Караул устал!» (И. Харлампенко, Ленинград). «Порядок в нашей стране невозможно навести без введения чрезвычайного положения. Когда враг во время войны подходил к Москве, в ней было введено военное положение. Но как ввести его сейчас, когда враг уже в Москве, Ленинграде и других городах?» (А. Уткин, Нижний Новгород). «Дорогая наша диктатура, не спеши стареть и умирать» (строки из стихотворения, процитированного в докладе Н. Андреевой).

Вокруг вопроса о том, в какие формы следует облечь эту «дорогую нашу диктатуру», на конференции неожиданно вспыхнули жаркие споры. И порой казалось, что они разрушат монолитные ряды движения.

В своем докладе Н. Андреева предусмотрительно обошла молчанием щекотливую тему сталинских преступлений, надеясь, что и другие ораторы последуют ее примеру. Но не тут-то было! Старая большевистская закваска нет-нет да и давала о себе знать, выплескиваясь в панегириках по поводу «выдающихся успехов», достигнутых страной под мудрым руководством вождя, в осуждении курса XX съезда, разоблачившего культ личности Сталина, в требовании восстановить «ленинско-сталинскую партию».

Наиболее рельефно эти настроения представил в своем выступлении председатель Осетинского комитета «Единства» М. Кочиев. «Сегодня имя Сталина,— заявил он под бурные аплодисменты зала,— является тем критерием, на котором должна проверяться преданность идеалам коммунизма... Сегодня тот, кто является врагом Сталина,— враг революционного рабочего движения. Я предлагаю назвать большевистскую платформу в КПСС марксистско-ленинско-сталинской, чтобы сволочи всех мастей знали, кто мы такие, и близко к нам не подходили».

Видимо, опасаясь того, что подобного рода откровения и в самом деле покажут всем, «кто они такие», отдельные делегаты пытались урезонить разбушевавшихся сталинистов, сбить их воинственный запал. Но безуспешно.

«В нашей платформе несколько раз даются ссылки на высказывания Сталина. Это недопустимо. Сталин принес неисчислимые бедствия своей стране и народу». Эти слова Г. А. Кашина из Молдовы потонули в возмущенном реве зала. Две-три минуты оратору не давали говорить, захлопывали, освистывали. Перекрикивая орущую толпу, Кашин все же успел прокричать в микрофон: «Я вижу в этом зале людей со значком Сталина на груди. Кто-то из них позирует перед телекамерами, раздает интервью, восхваляя Сталина. Это позор! Такие действия оттолкнут от нас большие массы народа». Та же участь постигла и Р. Бурова из Днепродзержинска, осмелившегося на куда более мягкое «заявление» о том, что «Сталин — личность неоднозначная», что «наряду с бесспорными заслугами у него были и ошибки». Ему, как и Кашину, не дали договорить.

Таким нехитрым, «глоточным» способом возмутители спокойствия были поставлены, а точнее, посажены на место! Прежнее, грозящее расколом единство «Единства» было восстановлено.

И, надо сказать, весьма кстати, а главное, вовремя. Наступал час принятия резолюций, деклараций, обращений. А здесь-то, как и подобает «истинным большевикам», необходимо было продемонстрировать монолитное единодушие и единомыслие.

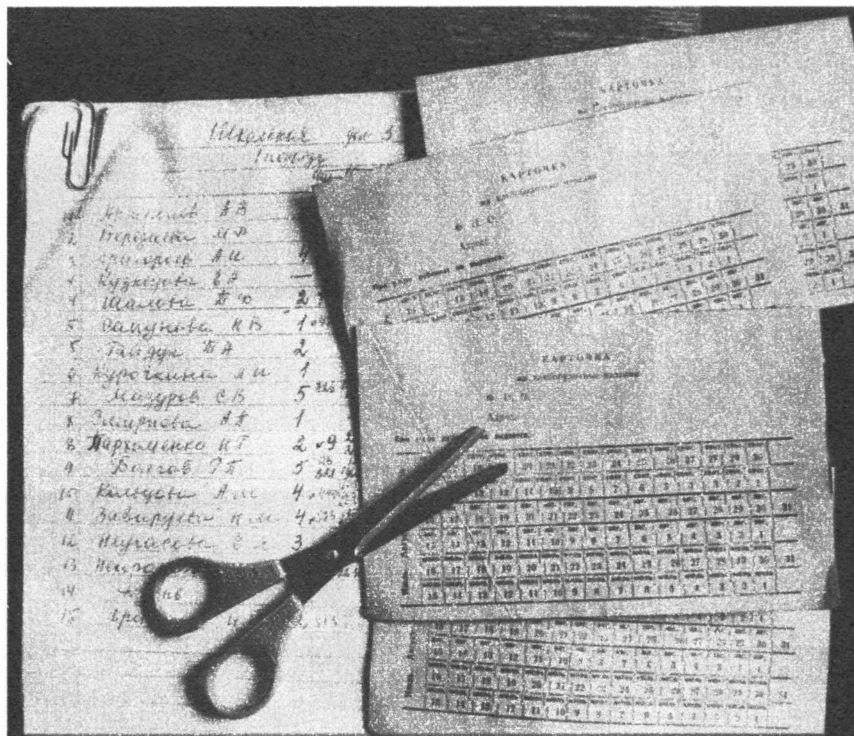
Однако первые же голосования по проекту и декларации об образовании большевистской платформы в КПСС выявили небольшую группку инакомыслящих. Немедленно прозвучали окрики из зала: «Пусть те, кто голосует «против», назовут свои фамилии!» До называния фамилий дело не дошло. Но угроза, скорее всего, подействовала. И центральная резолюция — «О политическом недоверии генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву» — прошла почти единогласно (всего лишь один — «против», воздержавшихся не стали подсчитывать).

Уже само появление такой резолюции — факт, бесспорно, из ряда вон выходящий. В какую-то пору большевики осмелились бы на такую «революционную» меру? Попробуй они снимать Сталина, или на худой конец Брежнева, или Черненко! Вся пикантность ситуации как раз в том и состоит, что собравшиеся в Минске «большевики», восстав против своего генсека, совершили, сами не сознавая того, акт величайшего святотатства и бунта против святая святых большевистской идеологии, предписывающей беспрекословное повиновение нижестоящих вышестоящим. И, кроме того, этим актом неповиновения они, опять-таки против своей воли, продемонстрировали, что от разносимой ими в пух и прах перестройки им все же коечто перепало. Ну хотя бы право в открытую заявлять о своем несогласии с действиями первого лица в их же партии.

И все же было бы непростительной политической наивностью проходить мимо попыток возродить сталинистское прошлое, попыток, опасных не своим внешне карикатурным видом, а теми иллюзиями, которые они сеют в обществе, опираясь в основном на его люмпенизированную часть. Это действительно опасно, поскольку люмпенство — это благодатная почва для столь желанной необольшевиками диктатуры.

Только вот не ударила бы она по ним самим, забывшим, увы, как это уже не раз делалось в нашей истории.

**Павел НИКИТИН,
собственный корреспондент
«Огонька»**



НАМ БЕЗ ТАЛОНОВ НЕ ПРОЖИТЬ

Новость, преподнесенная жителям Лихославля, заключалась в следующем: в городе вводились карточки на хлеб. Норма: 450 граммов в сутки на человека.

Когда вводили талоны на водку, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Лихославльские мужики бросились штурмовать специализированный магазин «Вино», опасаясь, что «бормотухи» не достанется даже по талонам. Окна магазина, жалобно зазвенев, вылетели под напором толпы. Новые стекла не простояли и суток. Следующие тоже разнесли, пока наконец торговля не догадалась заложить окна кирпичом. Магазин без окон мужики прозвали «броневиком». Теперь весь Лихославль так его кличет.

Ажиотажные страсти бушевали и после введения карточек на хлеб. Продовольственные магазины подверглись атаке населения, не верившего, что «карточного» хлеба хватит на всех. Маленький хлебокомбинат не в силах был справиться с резко подскочившим спросом. Скандал вспыхивал за скандалом.

Прораб Николай Васильевич Забеляев горько усмехнулся новости: давно не получал хлебушек по карточкам, с ленинградской блокады. Время как бы вернулось. Причем не самое лучшее. Вспомнилось, как он, семнадцатилетний мальчишка, отвозил на салазках своих сверстников, друзей по ФЗО, на кладбище. Память цепко сохранила нормы военных лет: в ноябре 1941 года Забеляев как рабочий получал 300 граммов хлеба в сутки, в январе 1942-го — 400, а в феврале 1942-го — уже 500, то есть больше, чем сейчас, в мирное время.

Забеляева ранило в сорок четвертом. Пуля пробила грудную клетку, раздробила предплечье. Рана была из смертельных, но он выжил, проведя с перерывами в госпиталях почти девять лет. Всего навидался-насмотрелся.

Стремление уединиться после пережитого и привело его в Лихославль, тихий городок близ Твери. Жизненный опыт подсказывал: в малых городах, как и деревнях, не пропадешь. По крайней мере всегда будешь с картошкой и молоком. Однако жизнь преподнесла сюрприз: сегодня в Лихославле ни картошки в достатке, ни молока.

Глухой перестук доносится из Лихославльского горсовета. Это, сидя под портретом вождя мирового пролетариата, отцы и матери города метят печатями бесчисленное множество талонов. В Лихославле (что расшифровывается народом как город лихой, дурной славы) все по карточкам: и масло, и сыр, и обувь, и сахар, и мясо, и макароны. Даже соль и спички. На талоны посажены и госучреждения, в том числе и детские. В чиновных бумагах я натолкнулся на заявление заведующей детским садом. «Прошу выдать,— пишет она,— талоны на спички, так как прачечная садика имеет печное отопление».

Хоть бы какой толк был от талонов. Что с ними, что без них — пусты магазины.

Все ждут будто манны небесной помощи из центра. С утра до вечера не смолкают разговоры, похожие на гадания: чего привезут, чего подбросят. Старушки несут бдительно службу у магазинов, чуть чего — от родни к родне, от знакомого к знакомому — и вот уже весь Лихославль топчется у магазина.

Собственная земля не радует урожаями, хотя по плодородию превосходит шведскую. Хлеба — что последних волос на лысине. Коровы поджары, словно гончие. Но велика вера в «чудодейственную силу» колхозно-совхозного строя. Ни тени сомнения нет у местного чиновничества в «пагубности» капитализма, машут тупо печатями весь день до усталости, «охраняя принципы». Вот и вся забота.

Здание хлебокомбината осело — вот-вот под землю уйдет. В начале века здесь была воинская конюшня. А впечатление такое, будто до сих пор там лошади квартируют. Запах на хлебокомбинате отнюдь не хлебный. Перебои с дрожжами заставили запастись ими впрок. Но холодильник вышел из строя — и дрожжи забродили. Других нет, приходится замешивать хлеб на вот таких, прокисших. Оттого и ароматы соответствующие.

С мукой тоже напряженка. То одного сорта нет, то другого. Хлеб пекут из того, что подвернется под руку. Когда сахар был — забыли. А без него настоящей булки не выпечешь. Несколько мешков, раздобытых где-то директором, правда, лежат на складе, но это НЗ, который берегут к праздникам, видимо, октябрьским.

А по будням из печей комбината густо идет брак. Непригодный хлеб обычно замачивают, чтобы затем использовать для повторной выпечки. Но брака бывает так много, что его не успевают перерабатывать. Он скапливается, плесневеет, и хлеб сжигают в топках печей. Не проходит и месяца, чтобы на комбинате не жгли хлеб.

Лихославль — малая капля из слезно-соленого океана нашего разора. Только у нас возможно, чтобы в одном месте выдавали талоны на хлеб, а в другом, рядышком, преспокойно хлебушек сжигали. Только у нас при нехватке чего-либо хватаются печатать талоны, вместо того чтобы задуматься над тем, как увеличить производство. Неужели кто-то всерьез верит, что чем больше мы напечатаем талонов, тем лучше будем жить? Во всех здравомыслящих странах думают о благополучии народа, у нас — об «измах». Если бы комбинат, скажем, пять лет назад передали в частные руки, сейчас там бы хлеб не жгли. И разрухи такой бы не было.

Но лихославльский бюрократ, следуя генному зову советского чиновничества и установке на «постепенный переход к регулируемому рынку», вместо радикальных мер вводит талон. И проблемы хлебокомбината для него перестают существовать вместе с самим комбинатом и людьми, работающими там. Если есть бумага, регламентирующая потребление, зачем приватизация с фермерством и прочие хлопоты? Знай помахивай печатью, проявляй «заботу о человеке». А человек между тем на рубеже XXI века такие челобитные шлет в Лихославльский горсовет, что в пору усомниться в факте отмены крепостного права в России:

«Прошу выдать мне талоны на табак, так как мне исполнилось 18 лет. И. Воронцов». «Прошу выдать мне все виды талонов на моего сына, родившегося месяц назад. Е. Уткина». (На этом прошении резолюция: «Выдать: 1. Хлеб. 2. Питание. 3. Соль. 4. Спички».)

«6 марта 1991 года я поехала в Тверь, чтобы купить билет для дочери-инвалида в санаторий. По пути зашла в ЦУМ, где у меня украли кошелек, в котором, кроме денег, находились талоны. Прошу Вас выдать мне новые талоны взамен украденных. В просьбе прошу не отказать, так как нам без этих талонов не прожить. Т. Скрипко».

Надежды на то, что повышение цен нормализует обстановку хотя бы вокруг хлеба, не оправдываются. Мукомолы Самары, Костромы, Владимира, Нижнего Новгорода, Твери и многих-многих других городов жалуются: «Нет муки, работаем с колес». И это после прошлогоднего рекордного урожая! Что же нас ждет в будущем году?

Не кощунство ли продолжающие звучать разговоры о «постепенном переходе к рынку»? Сохраним ли мы шансы добраться до него живыми?

Лихославль, Тверская область.

Письма «иногороднего» о казаках.
Письмо второе*

СТАНИЦА БЕЗ АТАМАНА

**Александр ТЕРЕХОВ,
Юрий ФЕКЛИСТОВ (фото)**

Мост через Хопер каждым летом строят опять. Как сделают — уже зима, уже на другой берег за дровами короче пилить прямо по льду. А весной река тужится, вздохнет и сносит мост начисто — сваи только торчат, и загорелый, как цыган, перевозчик все лето орет из-под ивы на тот берег: «А кто такой? А куда? А сам туда пошел!»

И этой весной мост слизнуло опять. Колхоз выпросил у армии понтоны, но стройбат за установку заломил столько телят, что колхоз свернул в ответ большую дулю, и через Хопер опять заскрипели весла.

В воскресенье столовая не работает. В понедельник в столовой не было воды — не кормили. В магазине торговали только арахисом и соком груши дикой. Во вторник, в шесть утра, умирившись окликать перевозчика через реку, я, как негр, завтракал на берегу арахисом, с хрустом разламывая скорлупу в пальцах, строго посматривая, не отчаливает ли там моя банка с соком, охлаждающаяся под бережком.

Худенькая тетечка, усевшись рядом на тюк рыжей телячьей шкуры, голосила, сделав ладони шалашом:

— Вась-ка!!! Опух! Твою мать?! Ехать на-да! Эй, эй, гляньте в кустах — может, пьяный лежит? А в лодке?! А под забором?!

Заспанного перевозчика доставили из станицы на багажнике велосипеда, он плюнул, увидав лодку на том берегу, и потащил с себя рубаху. Тетечка напутствовала:

— Вась, осторожней. Мужик с Акулово утоп в прошлый год, сено пошел косить.

— Утонуть можно и в бочке,— буркнул Вася, отошел правее, подгадывая под течение, и бултыхнулся, тяжело загреб, добавив на выдохе: — Шея у тебя, как бычий хвост, а как разоралась!

— В магазин ездила, очередь заняла,— объясняла мне тетечка.— Жизнь наша — капец. Раньше вон старики как пели. И песни из жизни были. А теперь из чего песни? Вопят, да телешом — тьфу! Отца моего три раза кулачили — пока не умер. Наши же ходили, голытьба. Отец говорил: они наших поросят пережрут и подохнут, а мы будем жить, и все одно — хозяева. Отец говорил, раньше у купца чего купишь, а он еще и платочек даст. Эх, а теперь последний хрен без соли доедаем.

Подгреб баркас, я сел на весла, а перевозчик держал руль и говорил речь:

— Разве мы казаки? Из Америки ребята нам церкву чистили, а из Урюпинска «казаков» прислали — веселить. Пели, плясали. Нагулялись — полезли на коней. Седлать чтобы сам — ни один. Привыкли в «Жигулях» — сел да поехал. Сидят, как коты на заборе. Кто без сапог. А без сапог на лошади, как на танке без трусов. Им сказали, а они: за то мы на велосипедах классно! Собрались, один командует: ну поехали, мужики! Наш парень его наземь стащил за ворот: «Ты хоть бы своих постыдился... Му-жи-ки!» А лошади под ними — чуть не падают. А ведь у нас кони были! Весь район на скачках ложили. Жеребец такой — его с первого круга снимали — сразу всех убирал. Приехал тут... очередной... И пятьсот штук на мясо. План выполнили первыми. Остались только инвалиды. Хорошей лошади — сразу нет. Цыгане, говорят. Да разве цыган будет у себя дома брать? Они — как волки, на стороне. Разве они потащат из-под замка? Ну, хватит, хорош-хорош...

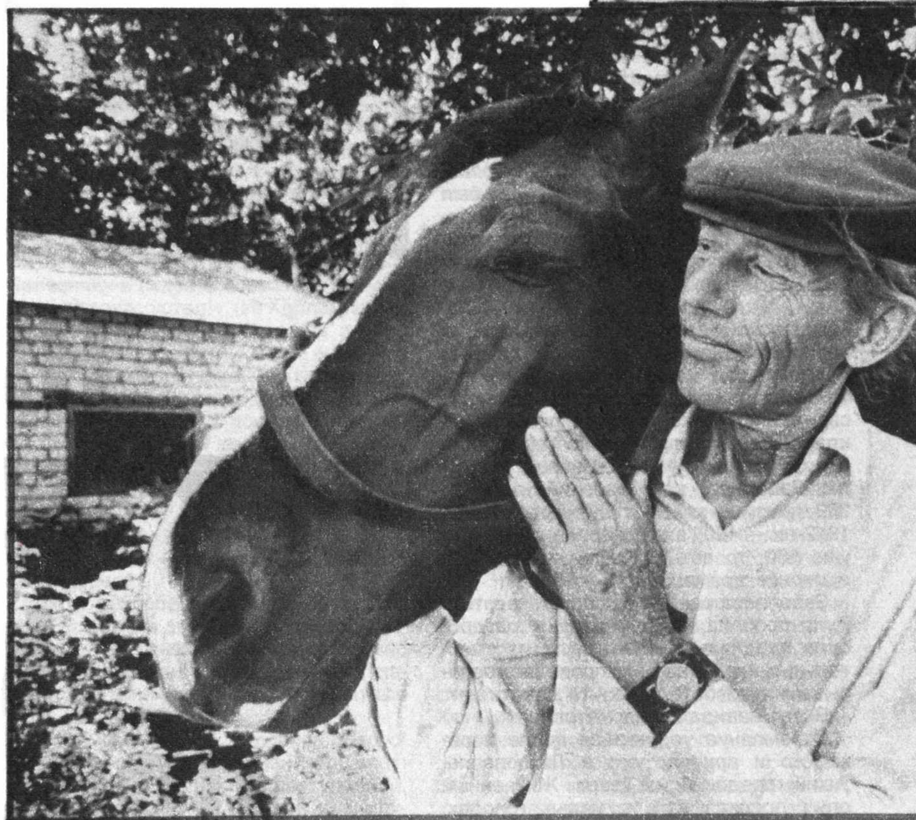
Баркас налег носом на берег, я кинул якорь в траву, тетечка потащила телячью шкуру и жаловалась:

— Посылки с Германии пришли. Кому дали? Ольге! А ей рубля до миллиона не хватает. И муж у ей не убитый, а умер. Несла — чуть не надорвалась. А моим внукам такой шоколад?

Перевозчик, поддерживая ее на сходе, задумчиво сопроводил рукой мягкие тетечкины части и на оскорбленные крики разводил руками:

— Дак я ж для скорости! Да чтоб удобней! — И повернулся ко мне: — Все у нас пришлые творят. Химию в Хопер сбросили. Лунку рубил — рыба выпрыгивала, жуки лезли, лягушки. Весной рыба у устья постояла и в Хопер не двинула. Я пацаном за полчаса два ведра раков ловил. А вчера? Пятнадцать человек! За ДВА часа! ВОСЕМЬ штук! — И он упал отдыхать под кусты, а я потащился в гору, раздвигая тугую траву, размышляя: а что будет, ежели на местную метровую гадюку в два пальца толщиной наступить ногой?

В гору лез трактор. Мужчина и мальчик — белая голова: куда ехать? Хутор Батраки? Ну давай.



— А вон он, сад генерала Раевского,— указал мужчина.— Бабы ходили малину собирать. Ведро — десять копеек. Да пуд мяса стоил пятак!

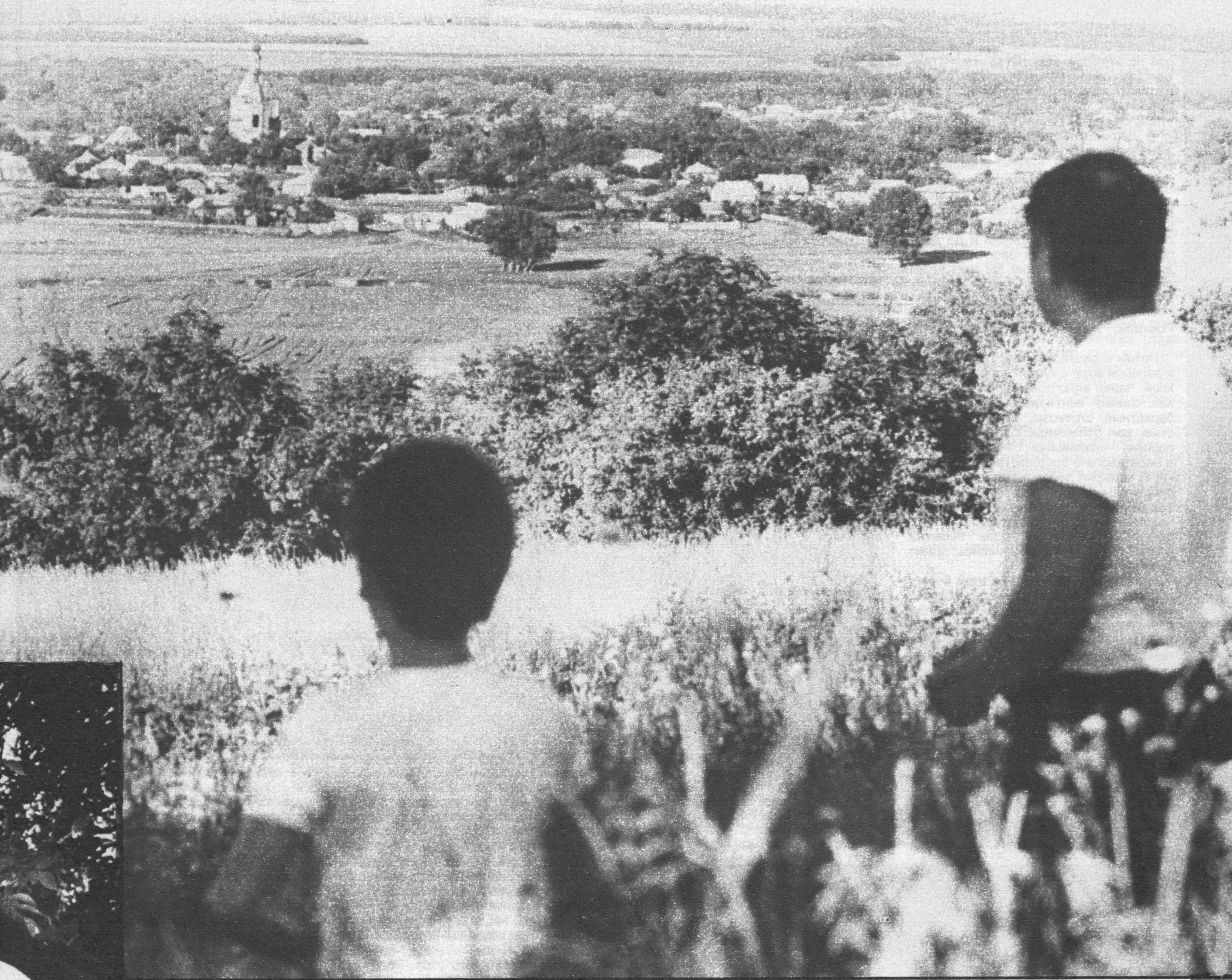
Ехали вдоль дубов, тополей, кленов с растопыренными семенами и тутошних маслин, лунным серебром трепещущих в ровных гривах посадок. А внизу Хопер закладывает такие петли, что очень способствовало разглядеть из-под ольхи сытую морду купца, чешущего себе пузо на легкой, расторговавшейся барже, зевнуть, пройтись ножками по холодку, разбудить товарищей по оружию и перетянуть цепью другую сторону петли, где купец будет только через часик, и подключить работника торговли.

Жили, богатели, брел этой стороной астраханский шлях из рыбных мест, гуляли ярмарки, опускали невода под лед, подводили слеги и лошадьми протаскивали невод от одной лунки к другой — у щук на мордах меж каменюк трава зеленая росла! Казаки холили роднички — без них не налашешь, дергали травку на берегах, чтобы песочек белый не забивала, сеяли по гектару гречихи — чтоб пчеле далеко не летать.

Две церкви единил подземный ход и еще вел к реке на случай последних набегов ногайцев и крымских татар, и в заветной пещере на сем берегу затаил свою казну незабвенный Булавин, и сколько живешь ты, у каждого есть за душой такое: «Дед мой с отцом — гляднь! — а за камнем: дыра. Полезли. Метров десять только осилили. Уперлись — железная дверь. Ладно. Решили: вернемся, а завтра уже всем миром... А тут война, кулачили, ссылали, сажали за карман зерна. Больше не вернулись».

Местные казачки ломали службу

* Письмо первое см. в № 30.



и в Царском Селе, у дедов была присказка: «Мы, милый, и все видали, и Гришу Распутина пьяным грузили». Особая радость — караул на Пасху стоять, это сейчас никого на седьмое ноября не добудишься, а на Пасху: может, с государем похристосоваться доведется, в ладонь серебра насыпят. А государь, а ведь он с народом работал, к иному казачку и крестным назывался, когда писали из станицы: родилось дите. Казачок службу сломал, а в родной хутор на каждый день рождения сына приходит посылочка из Петербурга от «кума» — весь хутор ждет, кого выберут вскрывать. Хуторской атаман перед царевым «кумом» первым фуражку снимал.

И колбасу делали, и хлебушек пекли, напиток «кислые щи» шибал в нос, текла прославленная хоперская пшеница за рубежи любезного Отечества...

Если ты хочешь купить в станице хлеб, ты слышишь меня, мужик? Ты должен в пять утра уже стоять у крыльца магазина. Хлеб привезут к двенадцати. Может, тебе и хватит.

Что касается местных парней, они попрежнему служат в роте почетного караула.

А клад Булавина искали археологи. Полазили, всю водку выпили в станице и уехали — не нашли.

Перестала колыхаться желтеющими пенными верхами пшеница, искрясь на межах сиреневым отливом, трактор заткнулся, стал, мальчик с чувством потер отбитый в кузове зад, мужчина сказал:

— Вот хутор Батраки.

Он — подполковник, отказался от полковника и вернулся. В станице не поверили. Значит, выгнали из армии. Никто с такой кормушки сам не уходит. Прячут уши под папаху, держат челюстью кулак, но сидят, сидят.

Подполковник ходил по хатам, показывал грамоту от Огаркова и ветеранскую медаль. Ведь когда выгоняют, медаль не дают!

А мальчика подполковник взял из интерната. Мальчик — Николай.

А хутор Батраки задушили до смерти по-тихому. Автобус перестал ходить. Хлебушек перестали продавать. Да и мост каждую весну сносит — умер хутор, все. Только горбатятся хаты с проломленными хребтами, заросшие по самые брови, сползли землистые камышовые крыши, торчат, как голые ребра, стропила, разгулялись лопухи широкие, как тазы для варенья, покосились и пали плетни, одичали сады, и все пошло в рост, так быстро забил все вишник, разросся. И хоть можно еще прикинуть, где переулочек, огород, палисадник — будто тело, сквозь погребальный покров угадать, жалуется кому-то горлица, торчат почерневшие скворечники, кувыркаются бабочки парами в небе синего цвета.

— Может, арендаторы сюда... Да кому охота себя гробить.— Подполковник вытащил из хаты чугунную печную дверцу резную.— С землей туго, за списанные тракторы цены ломят — дай боже. Жить не дают. Без председателя бумажки не подпишешь. Без бумажки не сделаешь шагу. И начинается с утра в правлении раздача кнутов и пряников. Дать травокосу или не дать травокосу? Отпустить бревно или «а пошел ты...»? Сено не смей косить, пока колхозное не скошено. А сено колхозное каждый год перестаивает. И сейчас — по грудь, а у них семинар в городе по сеноуборке. Да что там... Страна посыпалась — каждый потащил свое. Деньги вдруг заработал — сразу пропить. Именно сегодня! Мне отец говорил: в станице было три бригады плотников, с каждой потолкуй и выбирай, коли хочешь строиться. Теперь одна бригада, сколько скажут, столько нальешь. А что казачество у нас хотят возродить — это только идея. Ее сверху спускают, я не знаю даже, не знаю.

Надо уходить, а я еще полез зачем-то к чуть видному беленому столбу через бурьян выше головы, споткнувшись как следует об опутанное травами ведро, еле продрался, а это, оказывается, памятник, островок. «Никто не забыт» — осталось, а фамилии смыло дождями, росой, снегом. Я водил пальцем — ну, хоть одну, что хоть за люди жили, а нет, никак. А может, так и надо? Люди вымерли, дети выехали, земля пуста. Жизнь пошла стороной. Чего же ее упрекать, если она не из этих мест? Все своим чередом, вон как густо, и щедро, и сильно прет трава и дурманит на солнце — будет поле, как и было, просто жизнь людей на этом месте была ошибкой. Просто наша жизнь на нашем месте была ошибкой, и все очень быстро зарастет, так, да, так?

Уехали, а в следующем хуторе вынесли холодного молока в железной кружке, и дно кружки поднималось все выше над головой, как солнце, на холме переминались лошади, опустив свои женские, цыганские морды, а старик, сын казака, Александр Тихонович плакал, и лицо его скобками прихватили морщины, он помнит:

— Был-то я юноша, и мы возрастали при матери, шестеро. Отец в белых. Пытался сдаться, но уж больно над ним измывались. Сказал: больше не сдамся. Убили. А нас посадили. Семена засыпали... С братом... Девять месяцев сидели... На Красном поле. Я таких случáев не выдёрживаю... Брата сослали. Мене ослобонили. Хату колхоз продал. Я — на комбайн. На второй год — уже вто-

рой по колхозу. На третий год — первенство взял. И держал до войны. В плен попал, вышел до своих — особый отдел стал тарсучить, я слезми утирался, я, я...

— Да хватит тебе! — толкнула его жена и забрала у меня кружку.— Еще? Вот за всю жизнь себе — коняшку купил... Ты что-нибудь веселое расскажи!

— Женились промеж себя, хохлушек не брали. Такое весельство было. Едет казак, пашет. А другие — уже попахали. Давай вместе докончим и до дому поедем! Я на церкве звонил — диньдири-линь! Дон-дон-дон! На всю неделю — трезвон! Амбар — полон хлеба, я, я...

— Вот опять,— засмеялась жена.— Поехали, давай косить, чего слезы лить.

Потом я снова выбрался к перевозу, к зеленой воде с густой солнечной кляксой. Чайки вяло помахивали крылами, как сонные вентиляторы, фиолетово-бархатные стрекозы, худые и глазастые, как отличницы, с сухим треском парили, сцепившись «паровозиком», в воде дергано бродили гвоздики-мальки. Я ковырял песок растворенной, как бабочкины крыла, ракушкой и помахивал руками от оводов, надеясь, что перевозчик меня заметит, и кисло наблюдал, как движется вдоль бережка в мою сторону ужик, извиваясь, прямо скажем, как падла.

Река ожила. На том и на этом берегу сбились в табунки велосипеды, мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, мощные тракторы. Из-за обилия техники можно было подумать, что началось строительство моста и мост уже существовал в едином порыве к счастью левобережных и правобережных застолий. Баркас перевозил гостей и долгожданных гонцов с неприметными авоськами, которые всю дорогу бережно прятались на груди, как знамя. Подчас гонец с бесценной авоськой для левого берега вдруг трагически застревал на правом, включался в общую беседу, ложился на бок, и разговор волей-неволей затрагивал и его груз, но тут на левом берегу его друзья начинали в отчаянии метаться, устно упражняться в народном творчестве, кто-то грозно бросался в воду, и гонец тогда вдруг вспоминал высокое свое предназначение, крепко схватывал авоську, и с ним еле шел к баркасу перевозчик — самый счастливый человек на реке Хопер: он пил на обоих берегах.





За мной баркас приплыл с алым вымпелом «Лучшему комсомольско-молодежному коллективу» на носу.

— Слышь, пацан вчера утонул,— сообщил умиротворенный и потный перевозчик.— Сын того мужика, что прошлый год на сенокосе утоп. Ровно год прошел, понял?

Погрузились все, кто мог двигаться, и с некоторыми сложностями те, кто хотел, погребли. Разговаривали на глубокие темы:

— Со свеклы гоните?

— Свеклу мужики сеют, это в Воронеже. Да со свеклы голова болит! Мы — картошка, горох...

— Можно с дихлофосом, но от него как муха ходишь.

— А у нас в район стимулятор для быков присылают. Быку положено на случный период ложка на ведро. Он тридцать семь градусов, запашок, правда, кгм... Его в народе зовут «станина». Ни один бык за последние десять лет его и не нюхал. Шестьсот пятьдесят килограммов присылают на год — мы к маю уже все до капли убираем.

— Его и импотентам прописывают. Шестнадцать капель в месяц, но, ты знаешь, мы пять литров вмазали — хоть бы что!

— Милиция не гоняет?

— Да их хорошо если самих трезвых увидишь. Меня остановил: почему без шлема? Откуда самогон? Я ему говорю: оттуда, где и ты берешь, я же за тобой подъезжал.

— А еще армян участковый был. Этот достал. В него уже и из ружья стреляли, и на мотоцикле гонялись, чтоб убить, но он вовремя убег.

— А ты видал наших лошадей? Донская! Пусти на травку нашу английскую — от нее останется набор мослов. А у донской — аж боки раздует, все может: и телегу, и пушку, и верхом. А в цирке не может!

— Отец мой выпил и давай на лошадь взлезать, раз, два — падает. Бабка говорит: не надо, хвать-хвать. А он: я ж казак! Во мне казачья кровь! Опять полез, бабка развернулась, как ему вмазала! Он юзом пошел и сразу успокоился. Куда только казачья кровь девалась...

— Вот ты запиши. Нет, запиши... Пусть запишет. Или бросаю грести — ну!

«Рецепт. Проращенную пшеницу в трехлитровую банку. Еще семь килограммов меда. Немного дрожжей. Герметично в молочную флягу на две недели. Затем прогоняется через аппарат. Два раза прогнать — уже спирт. Свежая малина, ягода, изюм. Очищать древесным углем березовых дров. Если настаивать в дубовом бочонке — как коньяк. Отличить трудно».

Я пошел в станицу через луг — весной вода заливает луг, Хопер соединяется с прудом, и станица остается на острове, на холме, одна, плыви на моторке прямо из дома. А сейчас на лугу лежат высушенные, костистые пни, как старые зубы, и булыжники, притащенные сюда ледником. Жаворонок вонзается в небо меж вихрастых облаков, татарник оберегает колючками свой негромкий, скромный запах, стеклянно поблескивают облачка ковыля, и можно накрыть ладонями нагретую макушку муравейника и почуять, как щекотной, теплой водой потекут по коже муравьи, делясь целебным, кисловатым духом.

Можно идти и смотреть под ноги, искать вымытые разливом ружейные приклады и коричневые медяки с царскими гербами, которые хозяева вмазывали под штукатурку домов, клали на матицы — на счастье, во времена, когда здесь еще ржала конюшня окружного атамана и атаман — молодец и бабник — вел батистовым платочком от холки к крупу проверяемого жеребца, и кулак у атамана был как автомобильный руль, и если на платочке пыль — в морду! — и не дай Бог закрыться: жеребца не холишь да морду еще закрываешь. Округ был в семь раз

обширнее нынешнего района, один атаман справлялся.

А в восемнадцатом году всякие тут разные дела, начали гоняться за ним с наганом. Атаман отстрелялся, завернул на хутор к попу, очень у старичка была красивая, молодая матушка. Старичок после третьей кружки упал на пол немного отдохнуть, а атаман с красавицей пропал. Сгинул.

Лучших, смелых, несогласных, крепких высекли. А жизнь продолжилась.

Народ расстреливали на кладбищах и за конюшней. Местная активистка ходила кулачить в кожаном, напевала: «Кто был никем, тот станет...» Ее потом обещали продвинуть, но бросили — она крестом расписывалась. А хаты у нее нету, кушать нечего. Прижало — пошла Христа ради. Никто не подал: вот ты и стала всем. Умерла под плетнем от голода. И ведь очень жаль. Всех просто очень жаль.

Старушки и старики еще что-то попели на лавочках, а потом и песенники перемерли, а шашки раздарили всяческим гостям района.

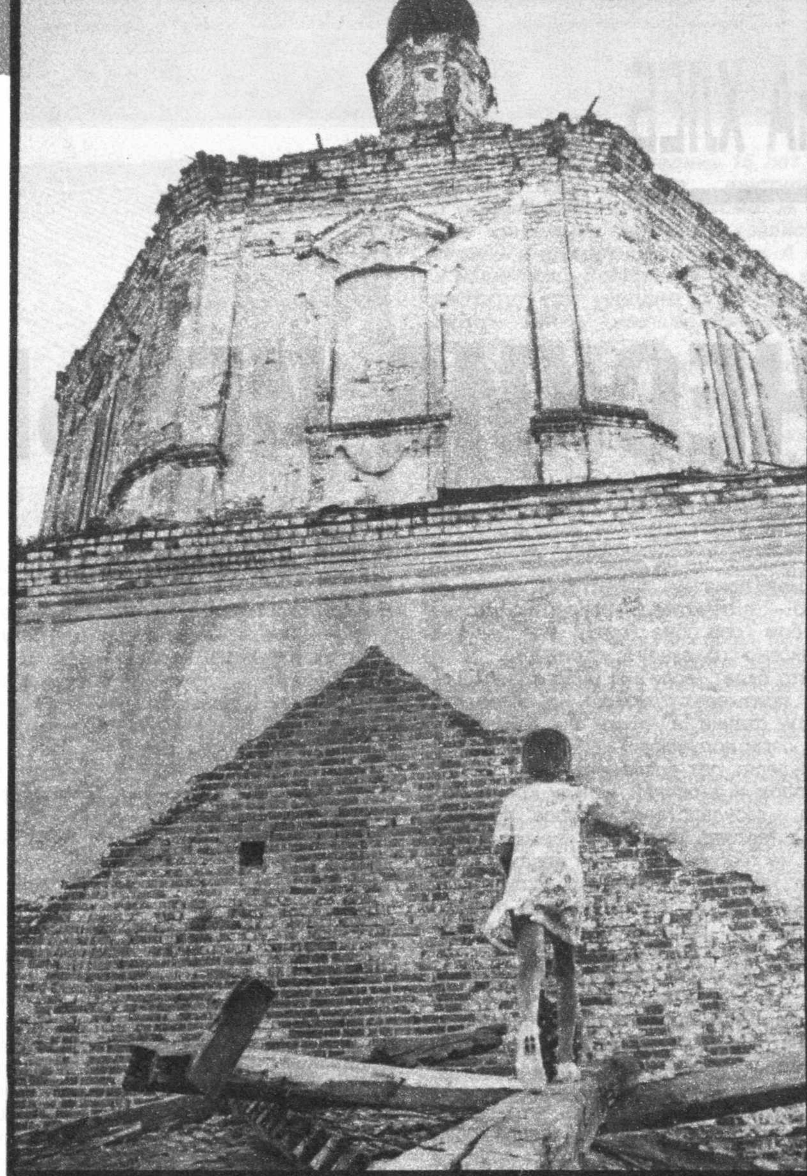
От колхозного рабства станичники отмотались — сели вязать платки из козьего пуха. Держат козочек, чешут козочек, в станичном стаде голов семьсот. Цены на платочки подтянулись к тысяче. Бюро горкома в давнишние времена официально запрещало — да куда там! Каждый вечер на лавочках и табуретах только спицы мелькают. Мужикам зазорно, скрывают. Да настоящему казаку и белье вешать зазорно, а уж тем более — стирать. А платочки — ах. Подвязал поясницу — и ходи, хорошо! Завернулся в платок — ложись на снег: вспотеешь! «Ты согрей меня, милок, как урюпинский платок. Чтоб не пялила глаза та двуногая коза».

Местная денежная единица — поллитра. Вспахать на тракторе шесть соток — одна пол-литра. Посадить шесть соток с лошадью и сохой — литр. Из расчета — пол-литра коноводу, поллитра — лошади. Лошадь, может, пить и не будет, но расчет такой.

На крыльце крайнего дома празднуют день рождения единственные станичные кооператоры — Василий Бутырсков и Владимир Перфилов. Хороший, новый дом у Перфилова.

— На своем доме я сдох. Я был ударником коммунистического труда, вымпел висел — приятно. Заболел, девять месяцев лежал и понял: никому не нужен. Решили кооператив, поехал в город, сидит комиссия, пятнадцать человек: ну что, будешь материал воровать? Взялся за дом, и жизнь вообще потеряла смысл. Я даже половины не смог из того, что хотел. Стены поставил — стропил нет. И нигде нет. Раньше я знал: сейчас нет, а через месяц я достану. Теперь — никогда. Мои руки, вот эти, не могут ничего. А кланяться я не могу. С людьми что-то страшное творится, ты пойми, люди не боятся больше воровать. Дошли! В казаки мы еще посмотрим, идти ли, это начальство спохватилось с казаками, но я — за порки! Раньше лодок не примыкали, сети и вентеря в лесу сушили. А казаков настоящих нет давно. Не воротишь. Мой вон отец после лагеря молчал до этого года. Только в этом году на Пасху первый раз сказал, что из их партии из восьмиста только пятьдесят человек дошло. И больше ничего. Об одном жалею: пацаном был, сидели на рыбалке с одним дедом, и он обещал: «Старый я, родных у меня нету, открою я тебе, Вовка, где казна казацкая зарыта». Я не поверил. Мой дед, говорят, пять тыщ золотом закопал, я не нашел. Сундук с мехами в огороде выворотил — и только. А у нас тут деда одного топором зарубали, так у него монеты золотые нашли. Он-то точно знал ход в пещеру. Одна эта монета в церкви под пол закатилась, когда там клуб был, в кино. Я это место помню, когда полы перестилать будем — найдем.

Густеет воздух, на лавочки уселись вязальщицы, вечера здесь серые и пушистые, скоро пригонят коз. Я искал батюшку, опрашивая пацанов:



— Товарищи, как священника местного зовут?

— Поп!

Одну церковь разобрали, из кирпичей школу сложили. Кто себе досочку какую утянул, говорят, ноги отнялись. Священников привязали к лошадиным хвостам, прогнали скоком, да и стрельнули под соснами. В оставшуюся, кладбищенскую, затянули водонапорный котел на пять тонн, хранили соль, кино крутили — клуб был. В гражданскую с колокольни еле выкурили пулеметчика-китайца, здоровый был вояка. Здесь все так близко, еще недавно ночевал Петр, и поутру станичники просили: укажи, где церковь строить. Царь указал, и Екатерина уложила первый камень, белыми, наверное, руками.

— Эй, ну давай тут присядем!

Трашин Иван Григорьевич, «и супругу запиши — Раиса Михайловна», «пехота, сто верст и еще охота!», от Карпат до Харькова и обратно до Праги, страдает «хандрозом».

— Народу напичкали в Совет — пушкой не прошибешь. А у атамана было еще шестьдесят хуторов в округе, и справлялся! И порядочность была: боженька накажет! Ушко оторвет. Украл овцу — кричи в овечьей шкуре: я украл! А то развелось насилование детей — это ж безрассудное вещество! Солидарны со мной? Ужесточить надо на местах. Дружней жили. День свернули: по пятерке? По пятерке. Бутылку взяли — чай попили. Солидарны со мной?

Иван Григорьевич посматривает вдоль улицы: не видать ли коз? И машет руками дальше:

— А Ельцин, Рыжков, что ни батька, то — поп. За власть борются. Мы с Раисой Михайловной ложимся спать на половине программы «Время» и начинаем: каждый свое мелет. Хоть на кулачки друг друга. Хоть врозь ложись. Но главное — не окапитализироваться! А то придет тот же немец и нас закабалит. Загонит по самую сурепку, пенсию отберут у нашего брата, и кукуй! Солидарны со мной? А вон и батюшка идет.

Иван Григорьевич подходит первым:

— Батюшка, а на кладбище траву если скосил, скоту можно стравливать?

— Ну а куда же еще ее девать?

Отец Виктор, двадцать три года, указ владыки вышел — и вперед, первый приход.

Он отпирает церковь, крестится. Лезем на колокольню. Вот здесь над станицей, стоя на водонапорном баке, рискуя вывалиться в пролом колокольни, он бьет в колокола, вырезанные из кислородных баллонов. Бьет молотком за сорок копеек. Начинается жизнь.

С колокольни видны река, поле, с темными, как наперстки, стогами, меловые пятна на откосах, лесная, пышная шкура, немые курганы давно сгинувших людей.

Отец Виктор говорит, что начинали в столовой, ходили святить Хопер, старушки очень помогают. Очень много зависти в станичниках, сплетен. Закон божий — по субботам. Очень трудно ходят — у людей козы.

Со стороны луга пыльной тучей, растянувшись по дороге, потряхивая рогами, увязанными разноцветными тряпицами, в станицу повалили козы, и навстречу им потянулись человеческие руки, улыбнулись лица, распахнулись двери — я никогда не видел столько людей сразу в станице.

Как бы я хотел свое отпущенное прожить здесь, где травы пахнут медом и молоком и степь розовая, бело-голубая, желтая, снежная, где вокруг — земля и воля, и нету заборов и голосов, а только заботливый пчелиный труд, да замешательство крота, раскопавшего тропинку, где кричат олени, а весной река несет раздутые кабаньи туши с длинной рыжей щетиной, где чертят небо коршуны и ястребы, а сова, заночевавшая в трубе, вдруг застонет при утренней растопке человечьим страдающим голосом над туманом, где заходят во дворы лисы и точат зубы бобры, где никто никому не мешает жить, где так мало ненависти продажных столиц, где все просто, все открыто, где кладбища не на помойках, не в постыдной тесноте и грязи, а на зеленом холме, на круче, просторно, как птичья стая, присевшая отдохнуть, которую ветер подхватит и понесет за Хопер и дальше. Как хорошо бы прожить здесь, да пущены корни могилами в Нечерноземье, и каждой земле нужны свои хозяева, гостить ты можешь где угодно, не выйдет, не выйдет.

По улице белой тенью пробежала медсестра по своим делам, скрипят лягушки, тянет полынью, и летучая мышь нырнет впереди лохматым лоскутом — и нет ее.

Пора спать, а в клубе репетиция хора, поют, а маленькая девочка бродит под сценой, хватает за подолы старших и что-то каждому говорит, повторяет, и все никак не уходишь, почему-то сидишь, поют про девушку и казака, ты не забудь уж про нашу прежнюю любовь. Во втором ряду свистят и притоптывают. Песня кончилась, и я расслышал, что говорит каждому девчушка:

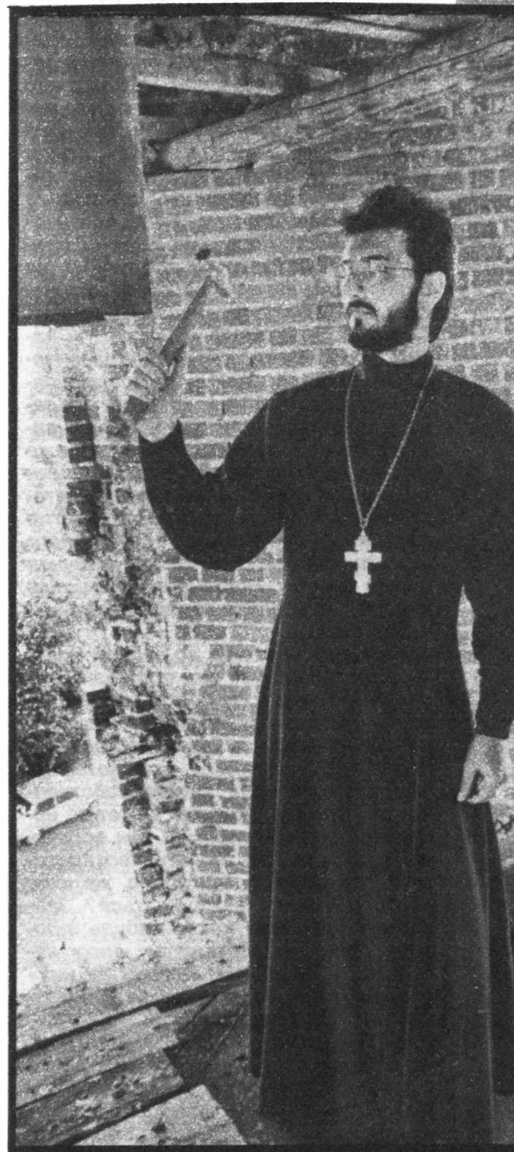
— А у нас опять утонул.

Вот куда бежала медсестра.

У единственных освещенных окон станицы — поликлиники сидят люди, в кустах кто-то устало рычит — погулял.

— Тока сегодня на мотоцикле гонял. Пили, пили... Молодой хоть?

— Какое там, армию сломал, двадцать девять лет, водитель Федя.



— Бреднем вытащили.

— Матери вон с сердцем плохо.

Я постоял, ненужный, и ушел по теплой пыли, мимо тихих лавочных шепотков, следом побежала собачонка, а потом утомилась и присела на дороге, кучкой золы, светит краешек луны, и справа от него дрожит неизвестная звезда, очень ярко, уже не хочется ничего, только спать, колени ломит. Ну конечно. Целый день на ногах.

ОГОНЕК НАДЕЖДЫ НА ХЛЕБ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Наш постоянный автор, заместитель главного редактора журнала «Сельская новь» Юрий ГОВОРУХИН беседует с доктором экономических наук, заведующим отделом сельского хозяйства и продовольственных проблем Института США и Канады АН СССР Виктором ЛИЩЕНКО.

Ю. Г.:— ***Виктор Федорович, думаю, мы не ошибемся, если скажем, что и нынешняя жатва ничем не отличается от прошлогодней. Все повторяется. В печати — тревожные сообщения с мест об острой нехватке топлива, запасных частей, квалифицированных механизаторов. Областные Советы объявляют чрезвычайное положение с целью максимального привлечения горожан. Идет волна увольнений руководителей предприятий «за равнодушное отношение к народному добру». Опять останавливаются стройки, заводы и фабрики уменьшают выпуск продукции, на поля «призывают» рабочих, служащих, ученых, студентов и солдат. Следуют авральные призывы: «Спасем урожай!» А далее — классический конфликт между земледельцами и заготовителями, которые сделают все, чтобы купить хлеб подешевле, а потом продать его подороже тем же «сельхозникам» в виде семян и комбикормов. Хозяйства, естественно, будут протестовать против грабежа... Сообщения с «хлебного фронта» увенчает итоговая мрачная цифра потерь. Последуют взаимные упреки, перебранка города и деревни через печать...***

Картина, знакомая до зубной боли. И свидетельствует она прежде всего о хроническом и глубоком пороке нашего «социалистического хлебного конвейера» и всей колхозно-совхозной системы. Имя ему — так называемая общественная форма собственности, которая, как мне кажется, исчерпала себя полностью. Мы обречены и в этот раз терпеть неотвратимую неразбериху. Сколько же еще все это может продолжаться? Забрезжит ли хоть какой-нибудь просвет? Или мы отстали от «них» навсегда? И вообще — почему «у них» урожай не превращается в общенациональное бедствие?

В. Л.:— Сразу хочу сказать вот о чем: надо прекратить политические игры с хлебом. Особенно в этом году, который в отличие от прошлого гораздо менее щедр на зерно. В восточных районах засуха. В западных — дожди. Если мы не уберем дискуссионную трибуну с нивы, то нам предстоящей зимой, простите, нечего будет жрать.

Да, неразбериха с хлебом не прекратится и в этом году. Да, недостатки нашей аграрной системы известны. Но что прикажете делать? Нам просто не обойтись без жесткого государственного регулирования не только на этот раз, но и в ближайшем будущем. Нам надо сказать самим себе: «Да, демократия — это хорошо, но на селе рыночных механизмов пока не существует, фермерство — в зачатке, и накормить страну хлебом способна лишь пресловутая колхозно-совхозная система».

Что будет, если мы пойдем за теми, кто призывает горожан не оставлять летом станки, и «пусть они там на полях сами колупаются»? У нас и так за семьдесят лет возведена стена между городом и деревней, между крестьянином и государством, которое, по сути, представляет интересы прежде всего тех же горожан. Деревня пока нас жалеет, кормит, хотя и плохо. Если же мы откажемся ей нынче помочь, то она начнет нас раздевать. Ей самой картошки с приусадебных соток на зиму хватит. А нам? И тогда, как в нелучшую пору, мы повезем в село обменивать ковры и обручальные кольца на мешок зерна. Надо прямо сказать: мы стоим перед угрозой голода, нам крышка, если не возьмемся за ум.

Сейчас поздно сетовать, что мы не сделали то-то и то-то, не запасли горючего, запчастей, не построили сушилок и хранилищ в хозяйствах. Хотя это дело первостепенной государственной важности. В Соединенных Штатах фермеров обеспечивают материальными ресурсами наравне с армией, в первую очередь. Там это общенациональная стратегическая задача. Там запасы зерна, продовольствия не госсекрет, а достояние общественности, о запасах знает вся страна, вопрос этот постоянно в центре внимания. А у нас? Мы же ничего не знаем! Сколько, чего и на какой срок у нас припасено? Отсюда та легкость, с которой мы предаемся накануне жатвы политическим страстям. Мы самоубийцы!

В стране должны найтись здравомыслящие люди, которые призовут и предостерегут: мы — на грани продовольственного краха. Спокойствие и организованность, граждане! Вопрос идет буквально о нашей с вами жизни и смерти!

Ю. Г.:— ***Ваши рассуждения я понимаю так: поделать уже ничего невозможно, возьмемся за руки, друзья, и выйдем на поля с серпами! Нам бы еще одну зиму пережить, чтобы на будущий год вновь заняться всенародной битвой за хлеб... А как же все наши разговоры о приватизации, законы о земле, перестройке аграрной системы? Когда мы прорвем заколдованный круг с отечественным хлебом? Знаете, я был свидетелем такого эпизода в Липецкой области: механизатор в разгар жатвы требовал у директора совхоза несколько дней отгула, чтобы съездить в город. «Ты с ума сошел! — кричал директор.— Где твоя совесть? Ведь хлеб пропадает!» «А что мне ваш хлеб! — распалялся в ответ тракторист.— Кому нужно мое ковыряние на ваших полях? Вы мне опять не дадите зерна для моей скотины. И на ваши деньги нечего купить. Ничего мне от вас не нужно!» Это же край пропасти, к которой мы подошли. Ни урожай, ни работа не вдохновляют земледельца. У него нет стимулов. Он начинает понимать, что большой аврал на жатве — не более чем дань всей нашей прогнившей системе хозяйственных связей, приказной экономике, насаждаемой в соответствии с утопическими теориями. А слова «ваше» и «мое» как раз указывают на границу крестьянского терпения.***

В. Л.:— Вашу иронию по поводу серпов в руках горожан понимаю. Но не принимаю. Не надо видеть во мне рьяного защитника «социалистических ценностей» в деревне. Я — за многообразие форм собственности, за фермерство и аренду, конкурентоспособную с крупным аграрным производством. Но ведь настоящей конкуренции сейчас нет, понимаете, нет! Деревня осталась коллективизированной, и мы не изменим ее в один день, сезон или год.

Я категорически против аграрной революции по образцу и подобию той, что свершилась у нас в 1929—1930 годах. Нельзя так насиловать деревню, нельзя так экспериментировать над крестьянином: 60 лет силком поворачивать его голову в сторону колхоза, а потом сразу — к фермерской усадьбе. Так мы окончательно свернем ему шею! Американцы просто диву даются: «Что вы делаете? Зачем эти призывы: «Раздадим землю — и все будет хорошо»?» Они волнуются за нас, потому что голодная и озлобленная страна им страшна, она пугает непредсказуемым поведением. Мы же пинками подталкиваем крестьянина к лопате и вилам, а с их помощью он будет кормить нас еще хуже, чем с сидящим на шее директором. Разве способны мы сейчас дать фермеру компьютеры, новые сорта, технологии, породы скота да еще в придачу трактор «Джон Дир»?

Наш крестьянин заслужил, выстрадал, чтобы мы спросили у него: как ты хочешь работать? Давайте не будем ему навязывать «верхнеэтажные» решения — даже самые научно обоснованные. Давайте дадим ему свободу выбора!

Я — за великую аграрную эволюцию. Нам нужны зерновые биржи — в дореволюционной России их было пять. Нам нужны торговые дома хлебом. Нам необходимо демонополизировать машиностроение. Нам надо пустить иностранцев на внутренний хлебный рынок. Нам надо разрушить монополию государства на заготовку зерна, чтобы наш производитель имел выбор: хочешь — сдавай в районный заготпункт, если цена устраивает, а хочешь — в кооператив или аграрную фирму...

Но где? Где все это? Откуда возьмется? Годы и годы потребуются, чтобы рыночные отношения утвердились в селе. И вообще приватизацию надо бы начинать не с земли, еще нет ее рынка, а с города, где товаром уже стали квартиры, магазины, небольшие предприятия. Приватизация невозможна по указу Президента, это новый сектор экономики, который рождается так же трудно и долго, как ребенок. А мы, не успев забеременеть, хотим уже родить.

Теперь снова о нынешней ситуации с хлебом. Я вижу выход только в одном: немедленно, не откладывая ни на один день, дать твердые государственные гарантии крестьянам, что они получат за хлеб твердые деньги — валюту. И по мировым ценам — 120—160 долларов за тонну. И пусть эта валюта будет отоварена сполна, и не в апреле будущего года, не «когда-нибудь», а теперь же, по окончании жатвы. Никаких обещаний, переносов сроков, обмана, как это мы делали до сих пор. Все государственные ресурсы надо пустить на то, чтобы хлебороб взял хорошие деньги за урожай и немедленно их отоварил! Нынче же! Тогда он не будет просить отгулы в разгар жатвы. Тогда он грудью закроет наши прорехи, отведет от страны угрозу голодной зимы. Другого выхода я не вижу.

Ю. Г.:— ***Хорошо. Расскажу такой случай. В Краснодарском крае есть совхоз «Фанталовский». Тамошний бывший директор Недельский, получив чеки за сданный урожай-90, поделил их так: себе, главному бухгалтеру и экономисту. Накупили на них всякой дефицитной радиоаппаратуры. Ограбленный коллектив возмутился, но Недельский отделался увольнением... Это еще так себе пример, есть случаи, когда этих чеков даже директора в глаза не видели... Идея с валютой дискредитирована. Поверят ли в нее вновь в хозяйствах?***

И вот еще какое соображение. При наших материальных нехватках, наверное, даже за чеки и доллары весь урожай не собрать. Из года в год мы половину его гноим, оставляем в поле и на обочинах дорог. Не пора ли наконец строго спросить с нашего государства: когда же оно перестанет полагаться на не развязывающийся от напряжений народный пупок и начнет заниматься действительно приоритетными проблемами — хлебными, продовольственными?

В. Л.:— Вот тут я с вами полностью согласен. Мне кажется, нашему Президенту надо меньше заниматься рекламой перестройки, а говорить напрямик: страна стоит на пороге продовольственного краха, мы нуждаемся не только и не столько в закупках зерна, мяса и сливочного масла, сколько в кредитах на приобретение и организацию в стране зерносберегающего оборудования. Приведу пример: закупка ста зернохранилищ общей вместимостью полмиллиона тонн (с сушилками и прочими машинами) обойдется примерно в тридцать миллионов долларов. Но это поможет снизить потери хлеба и избавить от импорта 73 тысячи тонн зерна. Иными словами, мы окупим затраты за год.

Вы упомянули о безобразном присвоении чеков директором. Это можно было бы назвать частным случаем, который свидетельствует об отсутствии контроля местных органов за распределением благ по труду. Но ведь и все наше государство никак не хочет поставить во главу угла всей отечественной экономики четко отлаженный хлебный конвейер! Спросите любого: кто у нас отвечает за то, чтобы наши закрома были полны? Президент? У него другие задачи. Премьер Павлов? То же самое. Так кто же у нас главный по хлебу? Назовите. Если это председатель Госкомитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов Михаил Лукич Тимошишин, так об этом и заявите. Громко! Чтобы у всей страны его имя было на слуху. Чтобы он располагал чрезвычайными полномочиями. Чтобы в центральных ведомствах ему открывали двери, как Президенту или премьер-министру.

Вопрос о единых государственных ресурсах хлеба должен быть в повестке всех съездов, заседаний и президиумов. Народ должен располагать информацией о положении дел на «хлебном фронте» не только в июле и августе, но и в декабре, феврале, марте... Я думаю, оборонная и космическая промышленность открывает двери разных кабинетов левой ногой. А сельхозмашиностроение? А наша разоренная, погряз-


Рисунок Алексея МЕРИНОВА

шая в дефицитах система хлебофуражного снабжения — Минхлебопродукт РСФСР? На каких задворках сидят они, скрючившись, в ожидании государственной помощи?

«Народ переживет и на хлебной корочке, главное — чтобы он правильно мыслил» — этот большевистский принцип по-прежнему владеет государственными головами. И это страшно. У нас процветает коллективная безответственность за урожай. А ведь зерно — наипервейшее стратегическое сырье. Без всего остального мы можем обойтись в качестве третьеразрядной державы. Но с пустыми закромами мы не нужны никому...

Ю. Г.:— ***Почему же? Очень даже пользуются этим западные страны, сбывая нам зерно на фуражные и продовольственные цели. В одной из справок, с которыми вы меня познакомили, есть такая цифра: с момента выхода на мировые рынки в качестве крупнейшего покупателя (в начале 70-х годов) СССР истратил на импорт зерна и продуктов гигантскую сумму — свыше 200 миллиардов долларов. Последние 15 лет вы лично неоднократно выступали с предложениями о пересмотре общей концепции зернового хозяйства страны и импортной политики. А воз и ныне там... Кстати, почему это ваш институт так усердно дает советы, будто нет у нас ведомственных аграрных экспертов?***

В. Л.:— Мы подготовили немало документов по зерновой проблеме, и я не вижу ничего плохого в том, что институт помогает взглянуть на нее с высоты мирового опыта. Практически помочь государству преодолеть издержки нашего зернового импорта — разве это плохо? Другое дело, что к нашим советам плохо прислушиваются. Точнее, вовсе не прислушиваются, ни к нашим, ни к чужим. И причина — в отсутствии гласности. Народ ничего не знает: кто, какой комитет или организация, почему и по какой цене закупает зерно за границей? Кто за это отвечает конкретно — Иванов или Сидоров? Если бы Министерство внешних экономических связей, агентство «Экспортхлеб», Минфин предстали пред нашими очами во всей своей безобразной бюрократической красе и дали отчет о своей деятельности хотя бы за последний период, я думаю, нашлись бы и способы, и время исправить ошибки. А пока...

Мы ведем себя на международном рынке хлеба как мелкие хозяйчики: пришел, увидел — хапнул. Надо закупать зерно не со страха, что его нам не хватит, а точно знать: чего и сколько требуется. И если уж брать, то не продовольственное зерно, которое мы пускаем на фураж, а фуражное, да поменее, да подешевле... Но самый главный дефицит в свиноводстве и птицеводстве — высокобелковые корма. Именно здесь пока без импорта не обойтись.

Пока же, я думаю, даже наш премьер-министр толком, до деталей не знает: сколько и чего мы покупаем по бартеру, по клиринговым и прочим сделкам. Полная неразбериха! И такая слепота нам обходится очень дорого в буквальном смысле.

Да разве так можно? Разве можно так не уважать собственных крестьян и весь народ?

Крупнейшая в мире страна по размерам зернового поля превратилась в крупнейшего и постоянного нетто-импортера. Абсурд! Представьте: на государственном уровне никто не владеет вопросом, обстановкой. Всякие рекомендации, в том числе и наши, ручейками стекаются «наверх» и там бесследно исчезают. У нас нет механизма, «приводных ремней», чтобы запустить их реализацию в обратном направлении, «вниз». У нас до сих пор не учитывают потребности страны в отдельных видах зерновых продуктов — по конкретным потребителям, не разделяют зерно продовольственное и фуражное, нет четкой структуры зерносеяния, не хватает машин для переработки зерна, не решается проблема дефицита кормового белка в рационах скота и птицы, из-за чего и завертелась вся наша «торговля». Мы даже не знаем нашего зернового баланса! Страшно сказать, но мы ежегодно тратим на импорт продовольствия от 15 до 20 миллиардов долларов! Это по оценке зарубежных экспертов, от наших такой цифры не добиться! А в животноводстве эффективность использования зерна из-за недостаточной переработки у нас в два-три раза ниже, чем в США и Канаде!

Рецепты известны: надо безотлагательно провести полную инвентаризацию источников и ресурсов белка, рассчитать его потребности, разработать комплекс государственных мер по стимулированию изменения структуры посевных площадей, расширению посевов под высокобелковыми культурами — подсолнечником, соей, рапсом, люцерной... А сейчас главное — покупать за границей не хлеб, а оборудование, технологии, идеи. Но движение в этом направлении может быть только в условиях рыночной экономики. Лучше не раскидывать миллиарды направо и налево, а вкладывать их в «гомо хлеборобуса». Взять, к примеру, и послать тысяч сорок специалистов, крестьян в Штаты — пусть учатся. Пусть глазеют, руками щупают, на зуб пробуют ихнюю жизнь. Тогда они будут знать, чего и как переделывать здесь, дома.

А то ведь по самоучителю, без инструмента хотим деревенского человека научить играть на «скрипке» или «пианино». Вот они и «играют» у нас — кто во что горазд...

Ю. Г.:— ***А играть-то наши способны! Знаете, Виктор Федорович, я просто поражаюсь, насколько гибок, умел, талантлив может быть наш крестьянин. Он и в колхозе, ежели там не очень дело развалилось, на все руки мастер. И в аренду — самую крепостную — влезает, и коли его особенно не обманывают, худо-бедно платят за работу, способен при барыше остаться даже в самых невыгодных условиях. А уж фермеры наши доморощенные — так те просто чудеса предприимчивости проявляют. Загляните в почту любого массового издания. Государственные крестьяне, арендаторы, хуторяне пишут так: не надо нам даже особенно помогать, вы уж хотя бы сильно не мешайте, тогда — сдюжим. Удивительный народ! И вот к чему клонят: «этикетка» нужна. И колхозу, и хозяину-единоличнику. Чтобы и огурец, и мешок картошки, и кусок мяса горожанин с «этикеткой» покупал. Дескать, сделано там-то и тем-то. Может быть, вот оно — начало рынка? Не обезличенное «наше», а лицепонятное «мое»?***

В. Л.:— Меня очень радуют эти факты. Я убежден: мы просто недооцениваем своих предпринимательских возможностей. Привыкли быть «бедными родственниками». А ведь наши гречиха, ячмень, рожь, вообще темные хлеба — давно уже привлекают внимание зарубежных партнеров. Конечно, хлеб надо чистить, доводить до высоких кондиций, работать с ним, но дело это выгоднейшее. Хлебушек сам на рынок не пойдет, ему надо помочь, за ручку его поводить. Тем более сейчас появилась возможность создания совместных предприятий.

Недавно гостем нашего института был известный американский общественный и сельскохозяйственный деятель Джон Кристал с группой специалистов. И выяснилось: им нужен продовольственный овес для сухих завтраков. А хороший овес стоит втрое дороже пшеницы.

Беда наших экспортных дел одна: все та же монополия крупных министерств и ведомств. Им подавай солидные заказы. А мелкие... Но их как раз и способны взять на себя агрофирмы, кооперативы, частные лица. Вот кому надо дать простор для хлебной торговли. И толк будет, уверен.

Я еще раз хочу призвать: давайте отбросим политические амбиции, давайте не будем акцентировать все внимание на том, чего у нас нет. Посмотрим — а что есть? Есть огромная страна, которую надо накормить. Есть прекрасный народ. Есть будущее — с явным демократическим уклоном. Нужно сохранить, сберечь это будущее!

А если заголодаем всерьез, будет пострашнее Чернобыля...

И нам, горожанам, надо нынче обратиться к крестьянам с такими словами: простите нас, глупых, за то, что так много вам должны и так еще мало для вас сделали! Вы уж нынче, на жатве, в страду, не подведите, сделайте все возможное. А уж мы поможем. И заплатим хорошие, настоящие деньги за урожай.

Вот как надо сказать... И сдержать свое слово.

Константин БАРЫКИН

КАЛАЧИ, САЙКИ И ПИРОГИ С КАПУСТОЙ...

Возродится ли знаменитая булочная?

Хоронили Ивана Максимовича Филиппова на Ваганьковском. «Московские новости» оповестили об этом на первой странице. «Русские ведомости» отозвались некрологом. Умер первый булочник России, талантливый человек. И до него пекли хлеб на Руси. Но Филиппов, а это не один Иван Максимович, а династия, повернул круто, заманил к себе отменных мастеров, закупал лучшую пшеницу и рожь, открыл в Москве, в Петербурге, в других российских городах булочные. И при каждой — пекарня. Было их в Москве сорок, адреса не пропали, хотя сами булочные исчезли, истреблены. Остались на Сретенке полуруины да на Тверской, тоже перестроенная, куда хлеб привозят издалека... Говорят, перед смертью И. М. Филиппов не то чтобы завещал, но душевно просил: «На Тверской пекарню рушить не давайте...»

Об этом мне рассказывал крупнейший наш хлебный историк С. В. Коновцев, он же оберег рецептуру филипповских хлебов.

...Та самая, знаменитая булочная на Тверской, о которой коренные москвичи говорят: «филипповская», по нынешним реестрам проходит как магазин № 1 объединения «Хлеб». Не сегодня отмечено: в булочных не шумят. В них нет привычного магазинного гвалта. И только тут, в первой, стоят галдеж и сумятица. Выходят, нагруженные тортами. Несут кульки с кексами и шербетом: товар дорогой, доходный, дающий большую прибыль и не требующий никаких усилий. Привезли короб с фабрики, выгрузили на прилавок — и вся недолга. И не черствеет, как городская булочка, и прочие преимущества и привилегии дает. Хлеб приносит в кассу за день тысячи две, а сласти — до семивосьми.

Истинный знаток хлеба, а такие сохранились, коренной москвич старается обойти «филипповскую» стороной, чтобы не портить себе настроения, лишний раз не получить подтверждения: булочная умирает.

Началось это в недоброй памяти день, когда, рассказывают, некий городской чиновник решил в большой хлебный зал, всегда такой духовитый и разнообразный, перевести восточные сласти, а отведенный им в ту пору зальчик отдать хлебу.

И начался погром. Расколошматили тут все (а, между прочим, к убранству филипповских предприятий и булочных имеют касательство Кончаловский и Коненков!), выкинули за ненадобностью прилавки, навесили на стенах полухрустальные бирюльки-бра и отдали хлебу боковушку. А в бывшем главном в хлебном отделе, где всегда был ситный и горчичный, куда любители настоящего хлеба приезжали даже с окраин, тут теперь разгул сладкого товара.

Обычное чиновничье скудоумие? Образ мышления людей, которым невдомек, что филипповская булочная — глава в истории города, клин материальной культуры, традиций, надежности? Порча нравов начинается с порчи хлеба. Пренебрежительное отношение к хлебу — первый признак падения морали. Подмечено это не сейчас, но урон от этакого подхода с наибольшей ощутимостью стал проявляться именно в наше время.

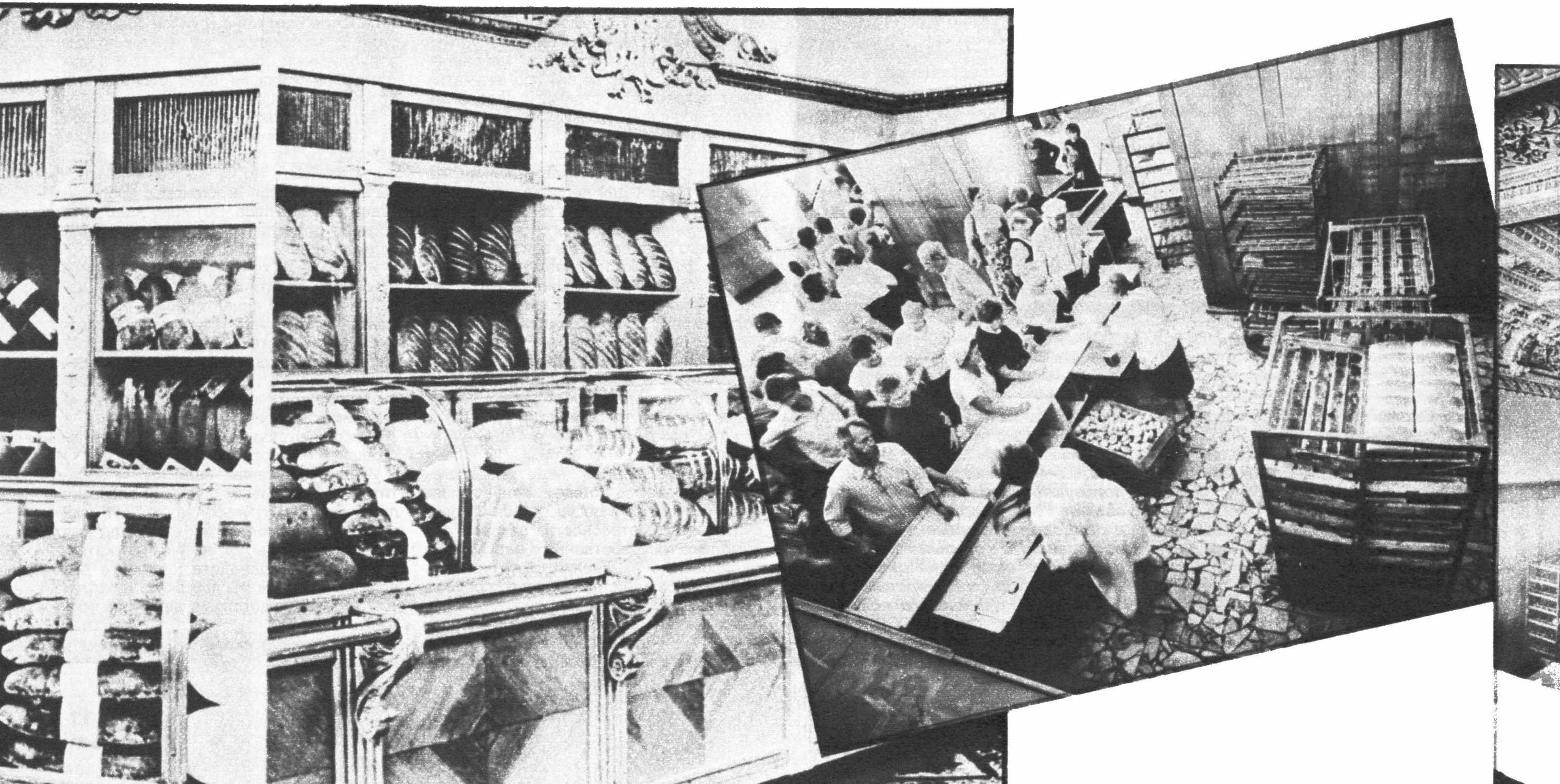
Филипповский хлеб, сохрани мы его, а это посильная задача, мог бы скрасить и недостаток других продуктов. Потому что пек Филиппов не только ситные караваи, не только калачи, но и очень вкусные сытные пироги: с требухой и визигой, с изюмом и капустой, с вареньем, с кашей. Уж как раскупались эти пироги разночинцами, курсистками, студентами. Захаживала к Филиппову «на пироги» и солидная, респектабельная публика... Припоминаю свидетельство академика Б. Кедрова, он ностальгически говорил о филипповских пирогах, которыми торговали в давнюю пору на каждом углу Охотного ряда.

В размышлениях обо всем этом и поехал я в один из павильонов Выставки достижений народного хозяйства, где сохранили не только память о Филиппове и его деле. Именно тут иждивением нескольких людей восстановили весь (весь!) ассортимент филипповских пекарен.

Центр «Экспохлеб» сделал это на добротном профессиональном уровне, исследуя проблемы хлебопечения, обобщая отечественный и зарубежный опыт, пытаясь оберечь от забвения то, что и вывело когда-то российский хлеб на позиции, которые принесли ему мировое признание. Не случайно же американцы пытаются возить наш хлеб самолетами — занятие немного наивное и бесперспективное, но все же показательное. Не от плохой жизни, а, напротив того, из желания принести потребителю и себе пользу, начал выпечку русского ржаного известный во всем мире финский концерн «Карл Фацер». К нашему хлебу тянутся — и «Экспохлеб» это понял. Итог работы передо мной. Вся филипповская выпечка: забытые «жаворонки» и халы (не плетенки-скороспелки современного социалистического индустриального хлебопечения, а именно халы), пироги, рогалики скрученные, калачи, те самые калачи, которыми так восторгался Гиляровский...

Собрание это уникально. Здешний народ, те, кто отвоевал у времени эту национальную гордость, эти исторические раритеты, столь высоко свою ра-

Фото Владимира МАШАТИНА



боту не оценивает, но и преуменьшать ее не намерен. Знают, что сохранили значительный пласт культуры.

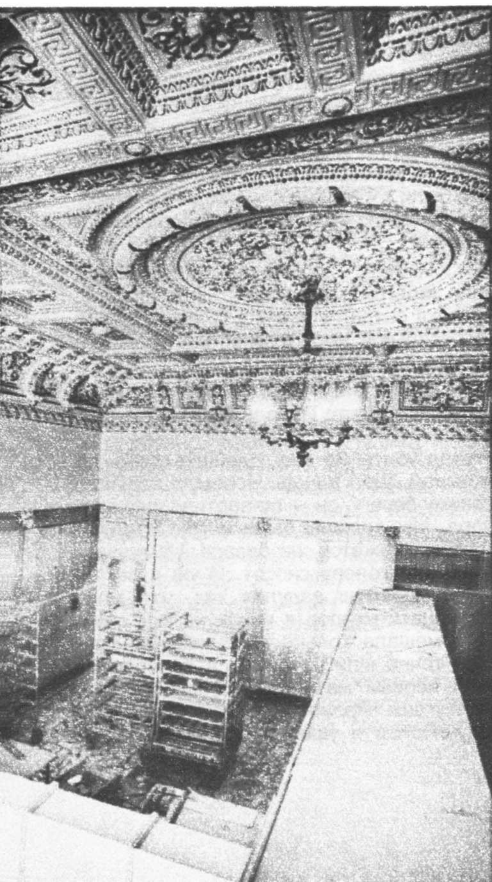
Дело за небольшим — вернуть магазину «б. Филипповская булочная» его прежнее величие, его былое достоинство, острую надобность для города. В неспешной нашей приватизации надо быстро выделить филипповскую булочную особой строкой. Я бы даже рискнул посоветовать нашим нынешним градоначальникам подарить центру «Экспохлеб» привилегию на булочную, на восстановление и владение филипповским наследием.

Выплата долга Ивану Филиппову...

Пусть это будет дар города — горожанам. Передать знатокам булочную на Тверской, пекарню (она сейчас на ладан дышит, вот-вот развалится) на Сретенке, иной филипповский скарб и хлебное имущество, буде они сохранились где-либо.

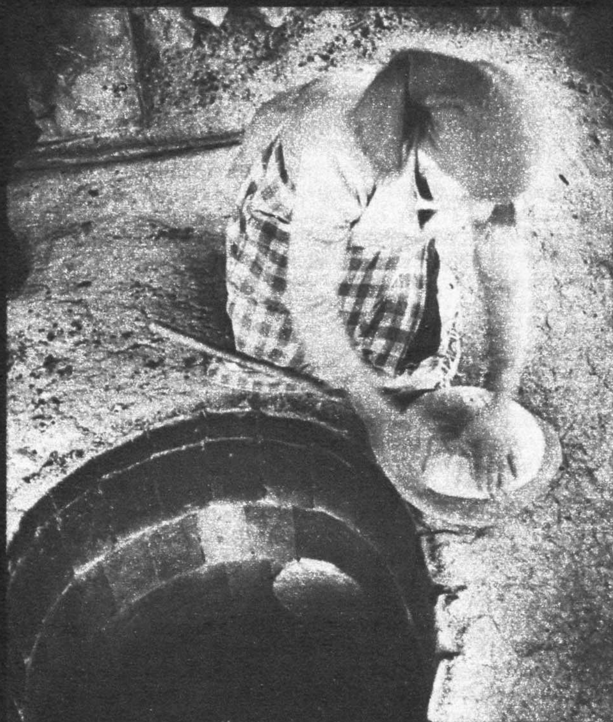
Порукой успеха стали бы профессионализм и совестливость коллектива «Экспохлеба», да и поддержка, которую ему готовы оказать в Министерстве хлебопродуктов России.

— Без опоры на традиции российского хлебопечения, без опыта Филиппова и других русских булочников мы едва ли вернем истинный русский хлеб,— сказал мне заместитель министра Владимир Иванович Саенко.



ТЯЖЕЛЫЙ ХЛЕБ ЗАКАВКАЗЬЯ





Кавказский хлеб. Можно целое исследование написать о его культе, способах его приготовления, истории. В бурных и подчас трагических событиях, которыми ознаменован нынешний день кавказских народов, хлеб — главная и непреходящая реальность. Дай Бог, чтобы она объединяла людей.

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

КРАСНАЯ КНИГА КАРАВАЯ

Ностальгические заметки

У хлеба есть своя красная книга. Книга памяти? Увы, книга забвения. Десятки видов и сортов ушли из обихода. Невозвратно?..

Вы едва ли купите настоящий горчичный. Не тот суррогат, что иногда «кирпичиками» выдает бывший 11-й хлебозавод, а ныне комбинат «Звездный», а подовый, вроде бы чуточку непропеченный, вкуса редкостного, долго не черствеющий.

Нет пеклеванного.

Нет ситного.

Нет калача тертого — городского гостинца. Извели...

Большой редкостью стал житный. Отменного вкуса и приятности, очень полезный хлеб.

Нет драночных хлебов.

Нет царской баранки.

Нет ржаного колобка.

Нет решетного.

Нет боярского... Хлеб не дешевый, но такой, что украшал любой стол, придавал ему праздничность и «торжество момента», как говорится.

Приказами учредили сотни скороспелок. «Политический хлеб», как сказал о них один из пекарей. Нужно было увеличить цену на известные сорта? Срочно издавали приказ, вводили в обиход новый хлеб: он чаще всего был хуже предшественника (как правило, для создания «нового» вида обворовывали прежний — брали его рецептуру и чуть изменяли ее).

А хлеб декретам и министерским распоряжениям не послушен — он выше их.

К. Б.

АЛЛА БОССАРТ

сергей-иосиф: апокрифы

Жизнь Сергея Параджанова была самым его трагическим, самым карнавальным, самым сказочным и самым незавершенным из тридцати его сценариев. Самым загадочным из тысячи его коллажей.

О нем существует бездна анекдотов. При всей сюжетной прелести и колорите они, конечно, чисто орнаментальны. Как озорной фриз, оплетающий житийную фреску. Эти анекдоты, наслаиваясь, уводят смысл Параджанова, его суть и суть его жизни на орбиту смешного, и все мы пишем апокрифы.

Впрочем, и апокрифы — не последнее дело. Что очень хорошо понимал Сергей Параджанов, высекавший из канонического кристалла, как сны из подкорки, радугу своих апокрифов. Саят-Нова и Демон, Андерсен и Ашик-Кериб, «Бахчисарайский фонтан» и «Слово о полку», Пиросмани и святая Шушаник, Икар и Кармен...

«Экранизации» — слово для произведений Параджанова столь же глупое и убогое, как слово «территория» для обозначения Эдема. Сценарии и фильмы Сергея Параджанова — развернутая пружина воображения, которое, собственно, и составляло его территорию, среду обитания. Эдем и ад его жизни, ибо воображение великого художника материально и энергетично. Не вижу другого объяснения физической стойкости тяжко больного и затравленного царской охотой пожилого кентавра...

...Он был рожден в год Красного Дракона под знаком Стрельца и умер гораздо раньше, чем был рожден, и умирал еще многократно. В своей неразборчивой мудрости он любил и учениц своих, и учеников, хотя те не отличались прилежанием. Он учил их монтажу и воздержанию (хотя ученики смеялись так заливисто, откидывая с абрикосовых щек шелковые волосы, а он все-таки был античным конем, но его спасал бег, быстрый атлетический аллюр по пестрым пружинистым отрогам Кавказа и Карпат, по лугам, не отравленным стронцием). Но его любимец Аполлон стал деспотом и взял многих женщин и мальчиков, а потом сорвал кожу с фавна из ненависти к культуре, как какой-нибудь хунвейбин. И когда учитель пришел сказать ему резкие слова, этот Калигула со свирелью собрал таких же хунвейбинов и выхолостил стрельца. И бессмертие сразу обрушилось на него всей своей безнадежной тяжестью. Он прыгал со скал, но только страдал от ран и переломов, а смерти не находил. А потом, как известно, над ним сжалились, и он умер вместо другого просветителя. И поэтому в своих следующих воплощениях он так спокойно и радостно встречал смерть.

Я сочинила апокриф о мастере, но, боюсь, его не напечатают, потому что смена времен привела лишь к смене канонов, и апокрифы по-прежнему вызывают раздражение хранителей официальной версии. После смерти кентавра ученики бросились снимать фильмы о нем, одновременно запустились пятеро или шестеро. Но они нуждались в хронике, а ее не хватало. При жизни-то никто не беспокоился... Для моего кино хроника не нужна. Но мне не к кому обратиться: никто из учеников не может повторить учителя. Снять апокриф о Параджанове под силу одному Параджанову.

КАК УМИРАЛ ПАРАДЖАНОВ

Александр ОТАНЕСЯН, режиссер (ассистент режиссера на картине «Сурамская крепость»): — Снимаем в Баку. Параджанов со всей группой в ссоре, ни с кем не разговаривает. В семь утра у меня в номере звонит телефон, и совершенно замогильный голос — как будто он уже т а м — говорит: «Шурик, я умираю». Ну ладно, думаю, хочет мириться. Иду к нему — лежит, прозрачно-зеленый, и действительно умирает. Приезжает «Скорая», увозит. Чудовищно высокий сахар. Хотел ночью пить, развел в графине банку сгущенки и выдул — диабетик. Короче, недели две проваляется. И вот сижу внизу в гостинице, чтобы предупредить всех, кто будет спускаться, что съемка отменяется. Вдруг поворачиваюсь — швейцар в дверях смотрит вслед лифту, совершенно опешивший. «Что такое?» «Ваш толстый пришел...» — говорит. «Какой толстый?» — «Ваш главный, который на всех кричал».— «Ты что, какой главный, он под капельницей лежит!» — «Он пришел... Босый!» А зима. «Как босый?» — «А мокрый, смотри, нога пошла!» Гляжу — правда, следы босых ног. Ну все, думаю, чувствует свою смерть, не хочет умирать в больнице. Что-то с собой сделает! Быстро наверх! Дверь заперта. Кричу: «Сережа, открой!» Оттуда — мычание. Вдруг ясный голос: «Нет». Буду, говорю, дверь ломать. Тут, после некоторых раздумий, дверь открывается. Стоит. «Ты почему не открывал?» — «Я пахлаву кушал». Он украл по дороге пахлаву — сладкую, печеную, с орехами, с сахаром, которую ему вообще категорически нельзя, а тем более в таком состоянии, и кушал. И потому мычал. Увезли труп, пришел пешком, босой, кушает пахлаву — бред, сюр! И еще на нас же обрушил поток мата, оскорблений, инсинуаций, что народ разбрелся и нельзя начать съемку. И мы, злые на всю эту неразбериху, решили, что к завтрашней съемке так подготовимся, чтобы ему нечего было сказать! И мы подготовились.

Самый чудовищный объект, самый тяжелый — рынок в Стамбуле. Наутро приходит Параджанов. Ну, где массовка 200 человек? Вот 250. Одеты? Все одеты. Где 60 килограммов лимонов? Вот 70. Где верблюды? Вот верблюды. Лошади? Вот. Всадники. Ишаки. Конница. Оруженосцы? Вот они. Где ковры? Где обнаженные невольницы? Вот, все тут. Он ехидно спрашивает: а где фураж для скота? Я говорю: вот лежит фураж для скота. А где человек, говно за верблюдами убирает? Вот стоит человек с лопатой тебе. Где Додо Абашидзе? Вот Додо Абашидзе, уже в костюме. Приборы стоят? — спрашивает у оператора. Стоят, Сергей Иосифович. И что, можно снимать? Оператор всегда говорит — еще пять минут, еще две минуты... А тут — да, можно снимать. Что, «мотор!» осталось крикнуть? Да. «Тогда снимайте без меня». И ушел. Сорвал съемку! Раз вы все можете — можете без меня и снять. И снимали на следующий день, когда, конечно, такого уже не было — такое не повторяется, человека с лопатой уже не было. Зато ему уже было о чем поговорить. Он всегда играл, и игра становилась для него реальностью. Поэтому никто не верил, когда он заболел на самом деле...

УЧЕНИКИ

Леонид ОСЫКА, режиссер: — Его всегда сопровождала свита. Зрители. Сергей мог творить и жить только для зрителей. Он называл их учениками.

Как водится, ученики и предавали, и отрекались. Мастер относился к этому с пониманием.

У него собирались все — художники, поэты, стукачи. Стукачей он знал и говорил: так, стукачи, выйдите, я имею кое-что сказать. А чего на него было стучать, если он все говорил вслух и еще телеграммы слал в Госкино и чуть ли не в Кремль...

Роман БАЛАЯН, режиссер: — Я шпана, деревенский пацан, уличный. На нашем языке «педераст» не имеет никакого физического смысла, это характер, сущность. Для нас Параджанов — Бог, его враги становились нашими врагами на всю жизнь. А он с ними целовался! Товарищи его до сих пор кое-кому руки не подают, а этот гад всех прощал!

Говорят, он не разбирался в людях и верил всем, даже штатного топтуна в морозный вечер звал с улицы погреться и выпить. Но ведь и до него случалось, что хозяин застолья знал в лицо своего стукача и не задержал его, когда тот отправился на него доносить.

Однако наиболее горькой и человечной из притч нахожу я притчу о Петре, который трижды, до первого петуха...

Мало кого из друзей своих и апостолов Параджанов так любил и так высоко ставил в профессии, как режиссера Юрия Ильенко. И всегда, до самой смерти. И гирлянду лагерных баек-притч — целое гулаговское Евангелие от Сергея — он подарил, по сути завещал, именно ему. И самый последний свой замысел «Слово о полку Игореве» открыл своему антиподу — «императору Юрию Ильенко», верному Петру, что означает «камень».

Юрий ИЛЬЕНКО, режиссер: — После «Теней» мы уже собирались начать вместе «Слово», потом... разошлись.

— Поссорились?

— Между нами начали делить шкуру того медведя — «Тени»...

— Сверху?

— Да со всех сторон — сверху, снизу, слева, справа... А сейчас опять повторяются те самые телодвижения, которые были с «Тенями». «Лебединое озеро. Зона» — многие считают, что это фильм Параджанова, снятый Ильенко.

Георгий ЯКУТОВИЧ, художник-постановщик картины «Тени забытых предков»: — Колоссальную роль в «Тенях» сыграл Ильенко. Очень волевой человек, с колоссальной амбициозностью. Их амбиции тут же нашли друг на друга.

ИЛЬЕНКО: — Буквально через неделю съемок я ушел с картины. И вызвал Параджанова на дуэль.

— За что?

— Просто хотел убить. За все. Идейная ссора, по творческим мотивам. Шел дождь. Черемуш вздулся. Я шел по высокому берегу, он — по противоположному, мимо базара. Мы должны были встретиться на мосту и стреляться, кажется, на базаре. На гуцульских пистолетах, что голову сносят. И уж я бы не промахнулся. Но Черемуш вздулся так, что мост сорвало, и с тридцати метров я никак не мог стрелять. Так что помешала только механическая преграда: и я, и он точно шли на дуэль. А вечером из Киева привезли первый материал. Пришли в зал, сели по разным углам. Посмотрели. И я понял, что никуда не уеду. Потом я ушел в самостоятельное

кино. После Сергея ни с одним режиссером я работать уже не смог бы. Хорошо, что мост сорвало. Я бы продырявил его, конечно.

КАК ИГРАЛ ПАРАДЖАНОВ

Виктор ДЖОРБИНАДЗЕ, архитектор: — Балаган — великая вещь. Весь Шекспир — десятый вариант самых базарных вещей. Базарность Параджанова — большая, великая базарность. Никто так не умеет. Ведь богослужение — тоже балаган. Все — игра, великая ложь. Когда говоришь в рифму — тоже ведь ложь. Толстой сказал, что говорить в рифму — все равно, что ходить вприсядку. Весь Сережа — игра. Игра исходила от него. Божественная комедия. Но более убедительная, более правдивая, чем сама правда.

Границы между игрой и реальностью не существует. Вот что важно понять. И уж, конечно, границей, преградой не стал бы вышедший из берегов Черемуш — поворот в сюжете, кадр в шорах ладоней. И пуля выбросила бы в полете пунцовый бутон, и взорвалась бы розой, и упала в ладони...

...Виктор Джорбинадзе принимает меня в своем тифлисском дворце. Анфилады с дворцовой мебелью, коврами ручной работы, китайским фарфором и тусклым золотом багетов служат неучтивым напоминанием об утлой галерейке, повисшей со стороны двора на доме семь по Котэ Месхи, как оборванный в маскараде бумажный аксельбант. Дверь той квартиры заперта на замок, жилья больше нет, дом Параджанова, где он родился и вырос, и доживал последние годы, опустошен, голая кукла висит на перилах балкона, бумажная птица медленно крутится под ветром, как бы озираясь, и безотраден ее обзор. Нет больше прелестного, крошечного, как камея, фонтана внизу. Нет райского оперения жилища — шляп, шалей, ковров, росписей, корзин, фруктов, ламп, кукол, коллажей, тканей, стекла, серебра, бумажных цепей, цветов — всей драгоценной мишуры, в которую он обожал играть, и, может быть, единственный из взрослых людей видел в сочетаниях предметов откровения, как умеют видеть только дети, потому что только дети еще помнят душу и меру вещей. Ушел старьевщик, купец и антиквар. Умерли и на глазах истлели вещи. Нищий край синей фрески никнет к раскрытой двери холодной уборной.

Светлана ДЗУГУТОВА, художник по костюмам неоконченной картины «Исповедь»: — Сережа создавал уют вокруг предмета, какую-то сладость на душе. Наступало отдохновение — я впадала в детство: так бывает, когда под столом устраиваешь маленький домик из всевозможных маминых вещей, и если свет еще какой-нибудь розовый льется — вообще сказка. Вот Сережа создавал такие фантастические миры. Он всегда был ребенком — причем мальчиком и девочкой одновременно. Он любил играть в куклы, у него явно был большой опыт. Как он их одевал — вплоть до панталончиков. Да еще с монограммой. А под юбкой был маленький карманчик, а в нем — любовное письмо. А на мизинчик насаживалось маленькое колечко...

Голоногая девочка в пальто и с пестрой курицей на руках молча, непрошенно провожает меня прочь с голого двора на крутую улицу Котэ Месхи, известную сейчас во всем мире, но навсегда пустую.

Верико Анджапаридзе. Мераб Мамардашвили. Сергей Параджанов. Опустел город. Обнищал старый тбилисский аристократ Виктор Джорбинадзе, с тоскливой любовью вспоминающий... Ну, что обычно вспоминают, когда на склоне лет умирает друг юности.

— Параджанов — трагическая фигура?

— По-своему. Как Пьеро. Как Арлекин. В нем присутствовало такое понимание всего, что без трагедии он не мог. Если в человеке отсутствует трагичность, он — ничто. Но Сережа так поклонялся красоте, что она перевешивала. И в то же время даже в лагерях он не был трагичен. Потому что все было театром. В письмах было много жалоб, но тут же новелла, засушенный цветок и его история, роман с Лилей Брик...

«В случае, если у тебя все в порядке, пошли Лиле Юрьевне сто белых яблок и одно красно-черное, и все одного размера. Можно в корзине и можно в картонной коробке», — нашел нужным и важным Параджанов поручить жене в письме из лагеря.

Параджанов не жил в искусстве. Он сам был искусством. Воплощенным и абсолютным. И в этом, конечно, была его вина перед государством, у которого совершенно другие задачи. И если задачи театра Параджанова кажутся мне целесообразней и увлекательней задач государственного колизея, это еще не повод требовать реабилитации мастера. Виноват.

«Моя вина! В том, — такой вот странный синтаксис, — вероятно, что я родился, потом увидел облака, красивую мать, горы, сияние радуги и все с балкона детства. Потом города, ангины, ты и до тебя, потом бесславие и слава, некоронованная, и недоверия. И в тумане над освещенным лагерем осенью кричали всю ночь заблудшие в ночи гуси. Они сели на освещенный километр, и их ловили голые осужденные, их прятали, их отнимали прапорщики цвета хаки. Наутро ветер колыхал серые пушинки. Шел дождь. Моросил...» (Из писем к жене.)

КАК СИДЕЛ ПАРАДЖАНОВ

Мирза ХАМИДУЛЛИН, бывший заключенный Винницкой ИТУ: — Я был председателем совета коллектива. Приходят пацаны и спрашивают: ты по Киеву знал такого Параджанова? Еще его у нас нет, а уже знают, что он прибудет. Из Будников. В карьере он был. На второй день меня начальство вызывает, замполит: приезжает Параджанов. А числится он за Щербицким. Стало быть, Щербицкий дал указание его посадить. Замполит говорит: не дай Бог, что случится, нам голову сорвут. Ты киевлянин, председатель, бери его под свое попечение.

Заходит. Очень такой убитый. Я говорю: сколько ж тебе дали? Он: пять лет. Я: подумаешь, мне пятнадцать, а я вон веселый. Отсидишь! Я посылку ко дню рождения получил — апельсины, шоколад, говорю, угощайся! А он: нет. Потом уже признался: думал, отравлено. Боялся, что его убьют. Страшно мнимый был.

Буквально на второй день с Винницы притащили нам кинословарь. В словаре статья «Школа Параджанова». Ну, значит, правда. А я ему верхнюю койку дал. Тут узнали, что он на гитаре играет, все такое. Ну, молодежь сразу: дед, давай сбацай. И на второй день он уже играл им на гитаре, пел песни, рассказывал разные там байки... Потом замполит вызывает меня: неудобно, все-таки за Щербицким числится, землю копать... Может, культоргом? Я ему предлагаю, а он: не хочу культоргом. А чего хочешь? Хочу, говорит, на тяжелую работу. Я говорю: ты ж больной — у него сахарная болезнь была. Иди, говорю, завбаней. Не, говорит, не пойду. Хочу, говорит, к тебе в цех уборщиком — я мастером цеха был кукурузных машин. Ну, я его на нижнюю койку положил возле себя (там же борьба за нижние койки, только уважаемые должны спать). И вот он вышел в цех раненько, метелкой так хорошо махал — очень получалось.

К нему приезжали капеллами целыми, привозили всяких деликатесов. Через полчаса смотришь: ни кофе, ни шоколада, ни сала — ничего. Все раздал! Я говорю: Сережа, ну нельзя же так, ну угости, но оставь же себе! Я тоже тебе могу достать, что хочешь, через ларек. Он: а! И никогда у него ни копейки денег — кому попало раздавал. Последнюю рубашку снимет. Обозленным не был. Несмотря, что с ним так поступили. Бесшабашный — свои пять рублей отоварить не мог.

Тут я чувствую, что уже меня должны выпускать. А как же будет с Параджановым? Он же от меня целиком и полностью. Ничего же сам не может: ни отоварить, ни послать — ничего. Я продавщице в ларьке денег дал: смотри, говорю, корми его, чтоб у меня не это вот! И хлопца одного киевского подкрепил к нему — гляди, говорю, узнаю в Киеве.

А потом я у Лили Брик был. Там у ней три портрета: Маяковский, Есенин и Параджанов. Вот, говорит, три человека, которых я люблю.

А сын ни разу не приезжал. Тосковал Сережа очень.

«...Одни крушения. А впереди еще 600 дней. А впереди еще возможно многое и пожизненное. Сколько лжи на экране и в портфеле. Какой мир. Удивительный и порочный. Как смешон Шукшин в своем величии. И как беден во лжи! Просто срезанул неореализм на тему изоляции. А изоляция — совсем другое. Ее мечты — маргарин! Серый хлеб! Вилка! Стакан! Цветное пятно! (Все тут серое.) И вши, которые покидают труп. Мифа! Я сожалею, что вы не видели рисунков и кукол, созданных мною в неволе. Как я хотел бы, чтобы все... испытали изоляцию и прозрели. Как смешно и жалко представить себя в среде, где было так уютно и сытно. Извините. С. П.». (Из письма к режиссеру Суламифи Цибульник.)

Михаил ВАРТАНОВ, оператор: — Зона не была для него переломом мироощущения. Ты мне брат, говорит, и я хочу, чтобы ты все это прошел, чтобы увидел, чтобы Тарковский это увидел! Приличный режиссер должен как минимум два года отсидеть!

«...Попав на зону, я подумал, что я в раю: первое, что я увидел, — черешня с пятикопеечную монету, люди проходят, никто не трогает. Я посмотрел вниз — дегтем смазанный ствол, обмотанный, как змеей, колючей проволокой»*.

Именно так я представляю себе начало фильма о зоне, снятого режиссером Сергеем Параджановым. Такого фильма нет, и быть его не могло. Есть фильм Ильенко «Лебединое озеро. Зона», который к Параджанову не имеет никакого отношения: каскад сюжетов — лишь изукрашенный верхний слой, тонкое покрывало Параджанова. Жизнь была для него эстетическим явлением. Ему безумно нравился фильм «Лермонтов», потому что у Бурляева прямая спина и он изумительно красиво сидит на лошади. Он считал, что только Ариадна Шенгелая способна сыграть Анну Каренину, потому что никто не умеет так изысканно носить шляпу. Как художник и поэт, он никогда не прерывал процесса и не менял угла зрения.

Речь не о том, хорош или плох фильм Ильенко. Главное, что картина его — антипараджановская, и в этом смысле выстрел над Черемушем все-таки прозвучал.

Параджанов много писал и рассказывал о лагере, эти рассказы сохранились в письмах и на кассетах. Но природа Арлекина заставляла его творить свой театр и в сером смрадном кратере зоны.

«Сейчас я кончил «Библию». 12 притч. Гравюры страшны, непонятны, так как на них заключенные смотрят как на ужасы. Мне очень нравится... Новый год, сегодня 14-е, это по-старому, выкинули елку с игрушками, понесли в туалет, там она ожила среди сквозняка и вони». (Из писем к жене.)

СУД

Евгений МАКАШОВ, следователь по особо важным делам Киевской прокуратуры, один из авторов «Дела Параджанова»: — Я ему вменил мужеложство обе части и порнографию. Все участники преступлений такого рода увлекаются порнографией.

— Вы смотрели его фильмы?

— Видел.

— Полагаете, художник такого уровня мог увлекаться порнографией?

— Понимаете... Порнографией увлекаются все, независимо от уровня.

— То есть как?

— Вот так. Если я оставлю на столе «вещдоки» — нет таких, которые бы не посмотрели, что там такое.

— О чем вы с Параджановым говорили?

— А о чем с ним говорить? Вот он заявил иностранцам: я, мол, распродаю свою библиотеку, с этого живу. А при обыске у него не нашли ни одной книги! Всем известно, что он ничего не читал и не читает. Я и сам его спрашивал, когда он в последний раз брал в руки художественную книгу. А он: последняя книга, которая произвела на меня сильное впечатление, сразу после ВГИКа, — «Мойдодыр». Тема, за которую Параджанов сидел, была приоритетной в его разговорах. Даже в последнем слове он со всей наглостью заявил: «Граждане судьи! Я гомосексуалист и не скрываю этого!» Мне он сказал, что я, с точки зрения педераста, никакого интереса для него не представляю. Ну скажите, о чем мне с ним говорить?

— Если бы вы не вели дело, а встретились с ним, допустим, в поезде, попутчиками, какое впечатление он на вас произвел бы? Если бы у вас не было задачи его посадить?

— А у меня и не было задачи посадить его. Когда я получил дело, он уже сидел. Мне надо было выяснить, действительны ли обвинения.

— Так, значит, его посадили, когда еще вина не была доказана?

— Я ничего не говорю, он способный человек был. Загубивший, испачкавший свой талант.

— Вы и сейчас считаете, что его следовало изолировать?

— Безусловно. Он давно преступил грань допустимого в обществе. Ни для кого не секрет, что у нас много гомосексуалистов. Но они занимаются своим делом втайне от всех. И никто их не привлекает к уголовной ответственности. На нет и суда нет. А когда говорит весь город... Он делал и пропагандировал все время неприличные вещи. А посмотрите «Саят-Нова». Там же мужчины играют женщин!

— Как, по-вашему, лагерь не ускорил его смерти?

— Не могу связать. В лагере его жизнь значительно более отвечала требованиям сохранения здоровья, чем за его пределами.

— То есть лагерь пошел ему на пользу?

— Можно подумать, что те, кто не сидит в лагере, не умирают. Хотя я не знаю, отчего он умер.

— От рака.

— Времени у него было достаточно. А снял он совсем немного.

— Достаточно, чтобы завоевать мировую славу.

— Мировой славе тоже надо давать правильную оценку. На родине Сережа известным не был. Народ такого режиссера Параджанова не знал.

— Потому что его фильмов не показывали! И снимать не давали!

— А что было снимать? Вот поехал он в Москву и за два дня написал со Шкловским сценарий. Взял купил «Сказки» Андерсена, налепил: крупный план, средний план... Только имя известного драматурга Шкловского и позволило получить аванс. Ни одному автору за такие пустые картинки гонорара не выплатили бы. Четыре тысячи! А через два дня у него не

*** Магнитофонная запись из архива Юрия Ильенко.**

было денег ехать в Киев. Так шиковал. Всех удивил.

В Киев Параджанов, впрочем, вернулся. Где его немедленно и взяли, не дав даже начать «Чудо в Оденсе» — очередное его Чудо.

...Андерсен прошел через толпу, хором читающую мемориальную доску на старом доме. Толпа расступалась. Толпа и представители муниципалитета не увидели чуда: человек проходит в толпе, оставляя золотые следы.

На титульном листе сценария Параджанов написал:

«Чудо в Оденсе». Фильм-сказка. Авторы: Ганс Христиан Андерсен при участии: Сергей-Иосиф Параджанов с благословения Виктор-Борис Шкловский». В своей проницательной наивности он, конечно, ошибался: золотые следы заметны всем. Потому и шарахается толпа, потому и разрушают мемориальный дом муниципальные власти. Золотые следы — болезнь опасная и, пожалуй, заразная.

Макашов: — Я иду в тюрьму к нему и думаю: как мне поздороваться с ним, чтобы не обидеть — чтоб руки не подать. В газетах пишут, что он был привлечен к уголовной ответственности за политическое противостояние. Глупость! Он педераст, а не политический деятель. Он дерьмо!

Прощаясь, Евгений Михайлович не протянул руки и мне. Я оценила такую предупредительность.

Завен САРКИСЯН, искусствовед, директор музея Параджанова в Ереване: — Он очень любил сына. В тюрьме Сережа не опустился до уровня воров. Не стал наркоманом, картежником, ненавидел эти вещи. Не пил, не играл. И вдруг его сын проигрывает большую сумму, сын, который живет на свободе, у которого все есть. И когда Сергей освободился и приехал в Киев, он сказал сыну: возьми веревку и повесся. Ситуация была страшно тяжелой, на Сурена давила статья, по которой сидел отец. Я думаю, те, кто сажал Сережу, хотели его раздавить именно статьей.

«Сын, друг мой, единственный любимый мой человек. Находясь на свободе, я не находил времени сказать, как люблю тебя»,— писал Параджанов. Но понять и простить отца при жизни у Сурена не нашлось ни сил, ни разумения. Вот так они бьют, сволочь рода человеческого: разрывными, чтобы вдребезги, по всей жизни...

В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ

В 1959 году молодой режиссер студии имени Довженко Сергей Параджанов дарит режиссеру постарше Суламифи Цибульник, автору фильма «Мертвая петля», фотографию. Веселое худое лицо, кудлатая голова. И вокруг шевелюры чернилами, одним росчерком нарисован как бы нимб из колючей проволоки. И как курица лапой теми же чернилами: «Я в мертвой петле». Суламифь Моисеевна прячет драгоценную карточку: — Видите, Сережа знал, чувствовал, что ему будет плохо. В одном письме из лагеря написал: я сам себе приготовил это все. По первым шестистам метрам (прекрасная Суламифь говорит «мэтрам») я угадала: «Тени» — будет первый после Довженко фильм, который принесет нашей студии мировую славу. Я тут же, на проходной, рассказала одному знакомому, что вот смотрела сейчас гениальный материал Параджанова. И вдруг циничный тот господин говорит: «Ну все, значит, его выгонят со студии. И хорошо, если только со студии...» Есть в этом какая-то достоевщина. Сережа все отлично понимал. Его поведение и творчество не были формой протеста: натура. Он не был борцом, и слава Богу. Но его боялись. Потому что с ним надо было рисковать.

С ними со всеми надо было рисковать: с Тарковским, с Любимовым, с Бродским, с Параджановым... Они меняли наш генетический код. В соответствии со своим генезисом.

Григорий МЕЛИК-АВАКЯН, режиссер: — Я пришел с войны в 46-м году. Меня страстно тянуло во ВГИК. Первым я встретил там Сережу Параджанова — худенького, маленького, с потрепанными рукавами пиджака. Он мне начал рассказывать про Игоря Савченко, в которого был влюблен беспредельно — и остался, между прочим, на всю жизнь. Нам казалось, что Игорь Андреевич очень старый. Он скончался в сорок четыре года, после окончания «Тараса Шевченко». Фильм не приняло Политбюро Украины. Назначили второе заседание. Савченко просил поехать с ним вместе: один я умру, сказал. И мы с Сережей эскортом поехали. Заседание Политбюро почему-то было назначено на 10 вечера. И вот в два ночи спускается полуинвалид Савченко. «В Москву — умирать». Он умер на моих руках в институте Бурденко. Его, конечно, убили. Больше всех плакал Сережа. И сказал: «Всех нас ждет то же самое».

Параджанова сажали три раза. Последний раз — на родине, в Тбилиси, куда он вернулся в 1977 году после срока на Украине. Грузинский приговор выглядел вполне по-дурацки: пять лет... условно. Как бы на всякий случай. Чтоб не маячил, знал свое место.

Так же глупо боялись выпускать его за границу: останется. Но если что и было страшнее колючей проволоки для авлабарского гаера, так это безъязыкая свобода. Параджанов был для Запада политической сенсацией — там его понимали еще меньше, чем дома.

Своему другу Мише Вартанову Сергей прислал из лагеря рисунок: маленький зек подметает у Эйфелевой башни, над ним облачко, в облачке написано: «Моя мечта». А когда этого зека звали на 200-летие взятия Бастилии, когда приглашали в Париж лечиться, когда французская синематека предлагала ему полное содержание — Сергей Параджанов заявил, что «Париж — большое Ваке» («буржуазный» район Тбилиси), и остался сидеть на своем балконе.

Повсюду кричал, что хочет поставить «Гамлета» с Горбачевым в главной роли (а Кремль — Эльсинор). Перестройку упорно называл «пересрайкой». Восхищался Сталиным, называл его при этом конокрадом и сочинял про Сосо издевательские анекдоты. «А что касается твоего Горбачева, милая — вылез он после Лариной-Бухариной прямо в эфир в Риме,— то я к таким вещам привык: мы с тобой, милая, еще имеем возможность встретиться у белых медведей».

Сергей Параджанов совершенно не разбирался в политике и хотел умереть, глядя на Арарат.

ПРАВДА ПАРАДЖАНОВА

«...Мой любимый сценарий: в Тбилиси разрушили кладбище, и предки пришли ко мне домой. И я их не пускаю, они не прописаны. Бабушки, дедушки с чулками, в которые завернуты золотые монеты. И вот они садятся в шкаф — они, которые боялись грозы, электричества, агентов Госэнерго... Садятся в шкаф и нажимают на кнопку. Трос натягивается, и над городом летит шкаф. Фуникулер. С гор идет сиреневый туман, и они бросают свои испепеленные платки, и туман соединяется с тканями. А моя мама просила Тер-Акопа, священника, обвенчать ее с отцом. Они были в фиктивном разводе с 24-го года, чтобы спасти шубу из морского выхухоля и дом на Мтацминде. Шубу ей подарил отец, и она ни разу ее никуда не надела. Он будил ее ночью, теплую, испуганную, говорил: «Идет снег». И она выходила на крышу, в шубе, и стояла там. А потом спускалась, замерзшая, и мне казалось, что ее лизали буйволы. Это самое сильное, что я написал. Память, вознесенная в образ. Образ печали...»*

ДЗУГУТОВА: — Как он мечтал об этой картине! Он менял там все, всего себя. «Исповедь» была самой большой его надеждой. На съемках происходили мистические вещи. Заказал он два гроба. Потому что «хоронили» актрису в большом гробу, а по винтовой лестнице спускали гроб поменьше, так как обычный не проходил. А так как он много говорил о белом и черном, художники подстраховались и заказали четыре гроба — два белых и два черных. Такое количество гробов потрясло Сережу. Он сказал: это что, для меня? И сошлось.

Альберт ЯВУРЯН, оператор неоконченного фильма «Исповедь»: — Дом его — разоренное гнездо. Все, что можно было содрать, содрали. Он, наверное, предчувствовал: у него была тема бездомности армян, и в «Исповеди» он не пускает к себе предков, нет прописки... Но самого Сергея нельзя отрывать от Тифлиса. Никто так не связан с землей, с городом, с улицей, с соседями, культурой...

ДЗУГУТОВА: — Когда произошли события в Грузии, он сказал, что город — не его. Город ему больше не нужен. Он не выносил фашизм. Да, отношения с советской властью у него были испорчены. Но когда на смену Советам пришли какие-то непонятные силы — забастовки, митинги, кресты, моления, в церквах стреляли, а по улицам ходили со свечками, диссиденты у власти,— он сразу все понял: это не свобода. Диссиденты были тогда. И свободу можно было декларировать тогда. Тогда было с чем бороться, а сейчас не с чем. И не свобода, и не заточение — хаос.

ДЖОРБИНАДЗЕ: — У Сережи не было никаких национальных пристрастий. «Ашик-Кериба» он снял в разгар карабахских событий. Он очень переживал все, и фильм был целенаправленным актом, ответом Параджанова.

ОТАНЕСЯН: — «Ашик-Кериб» — сказка Лермонтова, городская сказка, турецкая. Хотя дело происходит в Тифлисе. Сережа озвучил ее на азербайджанском языке. Был пик конфликта в Карабахе. Это была его позиция: когда братья воюют, мы должны делать шаг навстречу. Объективно он прав. Но субъективно премьера в Армении была невозможна. Потому что художника судят не министры, а толпа, вершат расправу не собратья, а чернь.

ДЖОРБИНАДЗЕ: — Я очень люблю Армению, но вот армянские черты — не уметь простить и не уметь забыть... Они всю свою историю превратили в харакири. Наше легкомыслие — мудрейшая грузинская черта. Враг — прекрасен. Грузин умеет видеть красоту. Сережа — тбилисский армянин, потому так умел подняться над национальной абсолютизацией.

Александр МАРТИРОСОВ, художник: — Тбилиси был обособленный город с очень характерной культурой. Она даже не имела отношения к культуре Грузии. Фольклор, многоязычье. И жили все дружно.

Юрий МЕЧИТОВ, фотограф: — А Параджанов был продуктом тбилисской культуры. Поэтому он и создал лучший украинский фильм.

МАРТИРОСОВ: — Если бы он поехал в Африку, он бы создал национальный эпос какого-нибудь племени.

ОСЫКА: — Он мог сам выдумать ритуал. Причем так здорово, что его невозможно было изъять из фольклорной ткани. В «Тенях» — помните — надевается на свадьбе ярмо на Ивана и Палагну. Ну, не было сомнений! Тем более что такой художник при нем, Якутович — уж он все насквозь знает! Так вот Параджанов это ярмо придумал. По духу абсолютно точно, лирично, смысл какой! Потому что он был настроен на волну правды. Не вульгарной правды, а правды искусства, которая выше исторической.

«Тебе. Бутылочное стекло из-под бутылок. Сточил стекло и железо. Венецианские подвески. Безумной красоты. Купить тебе на воле изумруд и осколки мне не хватило времени, а тут, как король Лир, я одеваю газетную «корону» и думаю, что я не полоумный... Поедешь ли ты в Тбилиси посмотреть и понять меня и мою родину? Ее не понял даже Грибоедов». (Из письма к жене.)

Светлана Николаевна МАРТИРОСОВА, врач, одноклассница Параджанова: — Ему здесь предложили место заведующего киоском на фуникулере...

Саша МАРТИРОСОВ: — Что говоришь!

Светлана НИКОЛАЕВНА: — На суде же сказал... На суде не будет ведь врать.

САША: — Как не будет! Он всегда врал, и отличить было невозможно. Вдруг племяннику Гарику стал рассказывать, что его отец был кадетом. Ты что, все свои же, каким кадетом! Он был великим тбилисским вруном, вся атмосфера города была его.

...Все — игра и ложь, жизнь в рифму, бесконечный театр, что правдивее нашей правды.

В этом городе купленную на базаре дыню отрубают, вместо головы, у Ашуга, и красный шелковый калагай плещет из ее сердцевины, как кровь. Так не Бог ли умудрил лжеца этой ложью во имя неуязвимости Ашугов?

Майо МГОЯН, соседка, мать Ашик-Кериба: — Ой, какой человек был, никогда не обидит, со всех край света к нему приходили. Как моих внуков любил! Немножко-немножко настроение хорошее, он говорил: пойди, Майико, детей приведи. Дети такие умные были: «Дедо, дедо» — ему. Своих внуков не дождался — всех детей любил. Когда летом сидел на балконе, во дворе сколько детей бегает, всех позовет, на них шляпы одевает, радовался с ними. Сам, как ребенок, был. Я не могу поверить... Не могу зайти в квартиру. Они там его голос включили — ой, мне стало плохо. Для моего Юры он как отец был. Я все Сергею стирала, никогда не постеснялась бы. Ему некому было.

В високосный год Дракона снег выпадал и таял. Грязное месиво покрывало луга, и побуревшие лепестки были втоптаны в него. Остяки трав, обезглавленные стебли торчали под ногами, и глаза застило холодное бурое и белое пространство. Он дрожал всей кожей, недуг проник в его бессмертное тело, вспухшие ноздри едко сочились, в углах глаз скапливалась белая слизь. В горле скребла тупая оперенная стрела, и ломило ноги, будто стянутые путами из бычьих жил. Он лежал в мокром, перемешанном с глиноземом снегу, вытянув опухшие ноги. Копыта разрослись, оплыли и болели. Бока его были изъязвлены зноем, холодом и паразитами.

Он приподнял измученную голову и, оглядевшись вокруг, понял стократным своим умом, что не черный, набухающий гнойными глазницами Тартар окружает его, а холодная, остывающая земля, мокрая грязь гриппозной зимы, и, проклятье, он жив. Он жив, жив, загнанный кентавр, обманут!

— За что? — шепнул стрелец сухими губами. Он с трудом поднялся и побрел к белеющему на краю земли храму. Если боги не сжалились над ним, то, может быть, их служитель, бритоголовый жрец, или то будет худощавая жрица с гладким лицом — может, она облегчит его страдания и даст целебное зелье забвения — две части опия, пять частей вина и три части крови жертвенных животных?

...Над простым срубом возвышалась тоненькая колоколенка. На ступенях сидел старик в матерчатой ушанке, телогрейке и ватных, тяжело пропитанных сыростью бурках.

— Здравствуй, сынок,— сказал он.— Вот я тебя и дождался.

Автор благодарит музей С. Параджанова в Ереване и его директора З. Саркисяна, режиссера Ю. Ильенко, вдову Параджанова С. Щербатюк и директора фонда имени С. Параджанова Е. Левина за предоставленные письма, рукописи, аудио- и видеоматериалы.

Фото Завена САРКИСЯНА

* Магнитофонная запись из архива Завена Саркисяна.


ОГОНЁК

«РЫБА». 1988.



«ПЛАЩАНИЦА».
1974—1977.
Носовой платок,
шариковая ручка.

Параджанов с подарком для Ива Сен Лорана.



«ВЫБОРЫ У МАРИОНЕТОК». 1982.



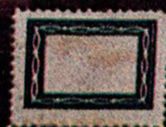


«ИМПЕРАТОР
ЮРИЙ ИЛЬЕНКО».

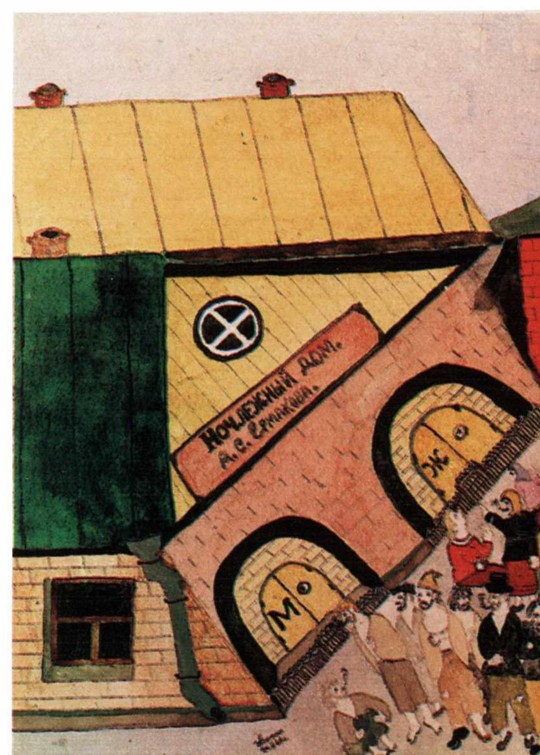
«АНГЕЛ,
БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ
Ф. ДОВЛАТЯНА».
1987.

«БУКЕТ
НЕВЕРНУВШЕМУСЯ
БРАТУ».
1987. Ассамбляж.

«ПАМЯТИ ФАБЕРЖЕ».







Иван НИКИФОРОВ (1897—1971)

■ «НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ ЕРМАКОВА НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ».

■ «У ГАДАЛКИ».

■ «ДЕРЕВЕНСКАЯ СВАДЬБА».

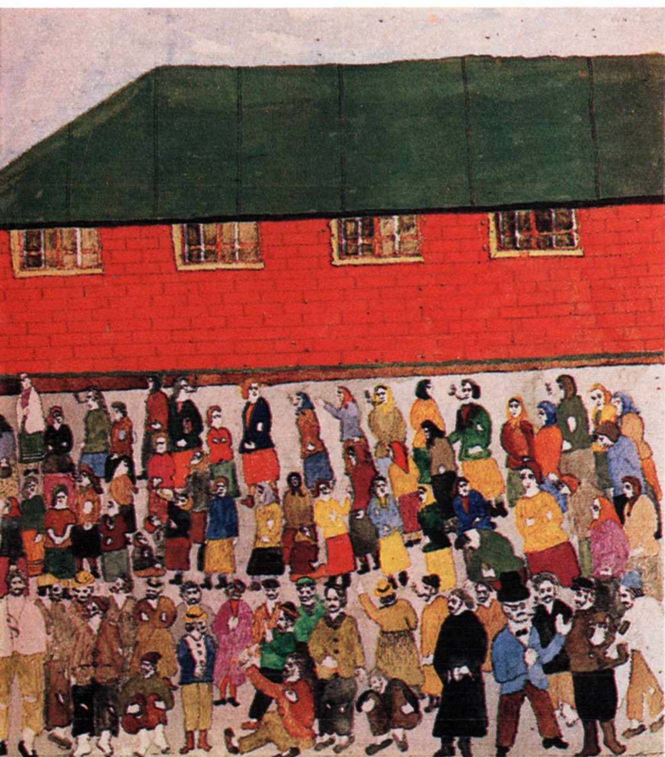
■ «ХИТРОВ РЫНОК В 1913 ГОДУ».

■ «МОСКОВСКИЙ ТРАКТИР».

Материал об И. Никифорове читайте на стр. 17.









Picasso

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ

ПАБЛО-БУЛЬДОЗЕР

Да этот Пикассо прет как бульдозер! Так и видишь его: коренастый крепыш, на плечах голова лысый шар, бычий лоб — и вот, опустив лоб, из-под него глядя мрачно своими глазищами — лбом вперед — прет Пикассо на нас всех, сбившихся в ужасе в кучу — прет с угрозой: ну я вам сейчас нарисую!

И летят из него, как с конвейера, безостановочно — летят в перепуганное человечество — картины, литографии, гравюры, тарелки, кувшины, разрисованные книжки летят, разметавшись страницами — и человечество уже по колено — по плечи — уже одни головы торчат — тонет в Пикассо и озирается торчащими головами испуганно и удивленно: что это он с нами делает? Что это делает с нами Пикассо?

Ну и работал же он! Пахал, как мужик, ухал молотом, как кузнец, полыхал пламенем, разил пóтом, стоял у мольберта в шортах и голый по пояс, кубышка с волосатой грудью, на коротеньких мощных ногах. И мастерские его — огромны, это сараи в милю длиной, это старые корабли, вставшие на прикол, проржавевшие, никому не нужные — или подвалы со сводчатыми потолками, куда лет сто не ступала нога человека,— просторно, тем и хорошо! Вот он присел на приступочку, на какую-то ступеньку и глянул на нас с фотокарточки — выжидательно, исподлобья, а за спиной громоздятся холсты и картонки — сгусток силы, сейчас сорвется, загремит, заработает, как дизель...

Ходишь, смотришь на его картины, раскрыв рот, скудным своим умишком прикидываешь, размышляешь, что к чему...

Тут линия нервная, лица печальны и замкнуты, как маски, и все голубое — стены, холмы, люди, души у них — в мире вечер, тоска, и печаль, и одиночество... Молчат, пьют абсент... То протянет он голубой, как полотно за их спинами, плотное, как шелк — то пустит голубой в картину, как сигаретный дым — сигаретный дым, по которому, как по ниточке, перейдешь от тоскующих гимнасток, из начала века — сюда, к себе. Когда поздно ночью уже кончилось веселье, и полна пепельница раздавленных окурков, и чашки — красные чашки — белеют тоскливо, ибо белы внутри, там, где на донышке остывшая грязь, кофейная гуща... Желтеет лампочка, чернеет ночь, голубеет сигаретный дым в тесной кухоньке с пластиковыми шкафами и электроплитой. Сидим мы и молчим, как те любители абсента, как странствующие гимнасты, глотаем голубизну, пахнущую остро и горько... Тоска! Пикассо — это тоска, это мое одиночество и твое, когда мы вместе, это тоска ночи и жизни, в которой — всегда ночь... Пикассо — тоска!

Ха-ха! Только решишь так про него, а он уже смеется над тобой, из этой жизни выскользнув в другую. Пикассо — тоска? Да что ты! Он — теперь — плоть и наслаждение, наслаждение плоти, которая рада воздуху и солнцу и собственному бездумию. Африка. Радость иметь тело, голое, и жаркое, и обильное. Лица на картинах он стирает теперь, как грязной тряпкой, и остаются размазанные пятна; зачем же лицо, тело все скажет! Огромное, коричневое, как земля, бугристое, нежное, тяжелое, растекшееся — стопа как у слона — бедра как у горы — да здравствует примитив! Пикассо — примитив! Всю Европу засовывает он за шкаф, всю эту истосковавшуюся, обмельчавшую в тоске Европу и лепит коричневой краской глины и земли тела, что плодородны, веселы и безлики. Ведь так? — Дурак ты, милый, Пикассо тебя опять обманет, опять перейдет в другую жизнь, пока ты будешь гадать над этой, над Африкой, примитивом, над тайной коричневого будешь напрягать человеческие свои мозги...

А он пока нарисует Санчо Пансу и Дон-Кихота, две трогательные фигурки, толстую и тонкую,— нарисует на тарелке. Господи, ну почему же на тарелке?

Потому что теперь ему хочется рисовать на тарелках.

И быть гончаром. Пикассо — гончар! Как прекрасно ставить красные закорючки на глиняном кувшине!— Как чудесно капать черным на белое поле тарелки и размазывать (не пальцем ли?).— Что это? Как смотреть? И вертим то тарелку вокруг головы, то голову вокруг тарелки! Ну не мог же Пикассо, великий Пикассо просто так поставить эти закорючки!— Что они значат? — Символы вечности? Пикассо — певец космоса?— Да нет же! (Убегая, усмехнется он тебе, взглянет по-бычьи из-под купола-лба.) Это ведь просто тарелка! На ней едят!— Но зачем, зачем эти завитки размазаны? Как кометы? Как головастики?— А просто так. Просто приятно.

Где же он, Пикассо?— Нету никакого Пикассо, есть десять Пикассо, десять разных Пикассо! И все они в нем одном, в человечке-кубышке с головой как шар (как земной шар?).

Потому что одной жизни нам мало. Потому что одного стиля мало, чтобы выразить многообразие мира. Да и одного мироощущения мало!— скучно с одним!— Вот оттого Пикассо таков, каков он есть, пока это не надоело ему; и тогда он переходит, перебегает, ускользает в другого Пикассо и опять рисует, рисует, и летят одна за другой картины, гравюры, книжки, разрисованные им в удовольствие... В одну жизнь, как в чан виноград, вдавливает он жизнь за жизнью, вминает их волосатой ручищей, чтоб побольше уместилось,— уминайся, сволочь, уминайся, истекай соком, в одну работу я вмещу сто работ, в одну радость вмещу тысячу,— десять Пикассо в одном Пикассо!

А если ты так глуп, чтобы искать смысла в каждом завитке или кувшине для молока,— то ищи, объясняй, придумывай себе, что Пикассо, мол, это тоска или примитив, а потом и гончар — он тебя опять одурачит, кувшин, над которым ты думал, наденет тебе на голову, прихлопнет своей тяжелой ладонью сверху — и нет его, он уже — сгусток силы, мощь бульдозера: в другой жизни толкает свой труд, ворочает камни... Что он там пишет на этот раз?

ВСЛЕД НАИВНЫЕ ДУМЫ ВЕРЕЙСКОГО ЧУДАКА

Есть что-то общее в судьбах художников-самоучек: нигде не учились, и путь их в искусство продиктован внутренней необходимостью.

Это можно сказать и об Иване Михайловиче Никифорове (1897—1971). Его воображение сближало прошлое и настоящее, пространство и время, факты биографии и воспоминания о них. Рисовал ли он на листках из альбомов, на оберточной бумаге или на обоях — все его картинки были выражением народного вкуса, крестьянских представлений о мироздании и нравственных основах бытия.

И сегодня трудно представить, что нашей с вами встречи с Никифоровым могло и не быть. И не известные никому шедевры его разошлись бы в конце концов на местном базаре.

О себе Иван Никифоров поведал в начале шестидесятых годов в серии рисунков «Моя жизнь». Это был искренний рассказ о судьбе невыдающейся и, быть может, даже неприметной. Кто-то обратил внимание на рисунки. Их стали брать на выставки в районе и в области, потом попали они и в Москву.

Иван Михайлович Никифоров родился в бедной крестьянской семье в деревне Монаково близ старинного уездного города Верея Московской губернии. В семье уважали труд, почитали старших, ходили в церковь, а в праздники шумно гуляли. Дядя Гордей отвел Ивана в церковноприходскую школу, где он успел окончить два класса. Отец, вернувшийся с японской войны, в Монаково жить не стал, поступил в Верее в кучера к акцизному. Но сына от учебы отвлек: «читать, писать умеешь, и ладно, пойдешь в Москву на заработки». И отдали его в Москве на кондитерскую фабрику на Мещанской. В карамельном цехе десятилетний Ваня катал руками горячий «пирог» с начинкой в тонкую «веревку», а напарник, такой же мальчик из деревни, резал «веревку» на конфеты. Сжег Иван все руки, ушел с фабрики. В шорной мастерской стал шить сбрую, кошельки, сумочки.

Однажды на Солянке встретил он своего родного дядю Андрея, брата отца, пьяницу. «Сгадывал он с кем-то на лампадочку,— писал впоследствии Иван Михайлович.— Обманным путем заманил он меня на Хитровку, как в пучину затянул... Дядя все мои вещи пропил, обобрал меня. Ушел я с Хитровки. Стал грузчиком». В первую мировую войну попал Никифоров на фронт. После революции служил в Красной Армии, в коннице. Потом мыкался между городом и деревней. «В своей деревне,— писал он,— взошел я в 1929 году в колхоз. Даже председателем был, как грамотный. А жена не захотела. По настоянию жены уехал я в конце 30-х в Москву». На заводе за опоздание попал под указ (был тогда такой), его уволили. Устроился грузчиком на станции Пушкино по Ярославской дороге. Стал жить с семьей в сторожке при станции. В 1942 году случилось непоправимое — при погрузке эшелона с оборудованием оборвался трос, и ящик с грузом придавил его. Стал Никифоров в 45 лет калекой, инвалидом. Ему нашли после больницы работу ночным сторожем при станционном пакгаузе.

«Я пошел на пенсию,— писал о себе Никифоров.— Скучно было дома без дела сидеть. Стал книги в библиотеке брать. И как-то задумалось самому что-нибудь написать. Я занялся писать жизнь одного знакомого мне человека... Внучка в это время подарила мне краски. Я подумал, что книги иллюстрируют картинками. Я стал к своей повести рисовать картинки. За два года написал книгу в семьсот страниц и к ним более ста картинок.

Иван Никифоров писал печатными буквами в ученических тетрадях, в холодном сарае при сторожке, под гул проходящих поездов, приспосабливая больную ногу и спину при сидении. Его романы «Прошедший век», «Фальшивомонетчики», «Нэп». Горестная ситуация заключалась не только в невозможности покупать краски и бумагу при пенсии в 30 рублей. Было непонимание родственников: «Что ты, старый, из ума выжил, в художники записался»... Жена даже сожгла в сарае роман и много рисунков. Им и в голову не могло прийти, что эти картинки имеют ценность.

Но Иван Михайлович свои занятия не бросил. Рисуя где-нибудь на краешке кухонного стола, он как бы вновь переживал молодость, события всей жизни. Создал несколько сот картинок. Сделанное не ценил: «Какой из меня художник? На художника учиться надо, а я так, для себя малюю». Теперь трудно сказать, сохранил бы этот истинный самородок цельное мировосприятие и непосредственность, если бы стал учиться.

Нам хорошо известны изломы многих подобных судеб...

Воссоздавая старую и новую Россию, художник-самоучка обращался прежде всего к крестьянской жизни, к памяти своего детства. Сюжеты его акварельных рисунков воспроизводят события деревенского уклада старой России, ее замкнутый цикличный круговорот: пахота, сев, покос, жатва, молотьба, сельский сход, хороводы, гулянья, свадьбы... Или картинки из городского, мещанско-купеческого быта, поразившие Никифорова еще мальчиком: трактиры, харчевни, ночлежки, магазины, лавки, вся торговая сутолока города — обувные мастерские, фотографии, парикмахерские, портновские заведения, уездный суд, городская баня, балаганы, катания на тройках...

Персонажи Никифорова, как обычно и у других наивных реалистов, статичны, почти игрушечны. Не умея изобразить движение, рука художника останавливает мгновение. Но каждая фигурка в толпе отмечена своей позой, костюмом, головным убором, прической, цветом.

Свои картинки Иван Никифоров называл «Мое былое и думы». Слава, которая искала Никифорова на пристанционном базаре в Пушкине, пришла к нему после смерти, на персональной выставке в декабре 1971 года в Доме литераторов. С тех пор картины Никифорова экспонируются на выставках, его работы частично находятся в Музее самодеятельного творчества в Суздале, у коллекционеров, о нем снят документальный фильм, написано много статей. Его имя вошло во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», изданную в Югославии в 1984 году.

Технический прогресс вряд ли сохранит непосредственное, фольклорное сознание. И только трогательные картины таких художников, как Иван Никифоров, будут напоминать о нем зрителям новых поколений.

Наталия ШКАРОВСКАЯ

Эдуард ШУЛЬМАН

РАССКАЗ

ПРИДАНОЕ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ

Бабка продала дом за семь тысяч рублей и переехала к нам в Москву. Так уж случилось, что после войны мать сошлась с другим человеком, а он не хотел, чтобы я жила с ними... Мать оставила нам пачку писем, полученных от отца, и похоронную на него.

Как раз в это время проводили газ, тянули трубы из-под самого Саратова, и вся Москва была перерыта хуже некуда. А в нашем дворе даже пройти иной раз было невозможно. Кругом канавы, кое-где досточки перекинуты, да ведь они узенькие, шаткие. Сперва-то мы прыгали, а потом дождь раз ударил, два — глина намокла, стала скользкая и ползучая, и наша соседка, старуха Матрена Алексеевна Солнцева, которая каждый день ходила в церковь в Телеграфном переулке, упала в яму и сильно ушиблась.

Но все равно в церковь ходить не прекратила, а только больше всех опровергала газ и молила господа Бога об изменении погоды — скорее бы зима настоящая и снег бы выпал, как в декабре положено.

Моя бабка Богу не молилась. Здоровая была старуха: по утрам так шлепала — мигом вскакиваешь, рука у нее была тяжелая... Потом насовывала резиновые чоботы, подвязывала веревкой, чтоб не свалились, и топала за хлебом для всей квартиры.

У бабки Матрены попросту отобрала карточки, не слушая никаких слов, и приносила хлеб и ей, и нам. И то же самое — дрова. У нас с бабкой Матреной была одна печка, и раньше мать спорила, чья очередь топить, ходить в сарай за дровами и прочее. А теперь ходить в сарай стала моя забота, а топить — забота моей бабки. Она никого близко к печке не подпускала, сама орудовала.

Другая наша соседка,— Татьяна Георгиевна, которая работала главным бухгалтером, по своей воле отдала бабке карточки. И хотя верила в честность бабушки, та обманывала ее.

Татьяна Георгиевна была женщина молодая и веселая. Она-то и познакомила мою мать с новым мужем.

Сперва мы все приходили в ее комнату, очень маленькую и уставленную мягкой мебелью (даже стол покрыт мягкой скатертью), и она угощала нас чаем с вареньем и пастилой розовой.

Потом стали собираться у нас. Мать хлопотала и бегала — что бы такое вкусное на стол поставить? — а вкусного-то ничего и нет!

Мать — в магазин, в коммерческий. А на другой день — к бабке Матрене: деньги занимать. А та: что, мол, ты за Танькой гонишься, она в войну наворовала, в твоей комнате — знала б ты! — сколько там шкурок овечьих попрятано было. Она, Танька, по гроб жизни обеспечена... И мать ругалась с бабкой Матреной, а денег та все-таки давала.

А еще через некоторое время мать и тот человек оставались в комнате Татьяны Георгиевны, а Татьяна Георгиевна сидела со мной.

Спрашивала про уроки. Я, говорит, буду тебя проверять. Но из всех предметов больше всего любила арифметику и ею со мной занималась. Между прочим, задачки решала на счетах, очень ловко и без ошибки, только условие переводила на деньги. Например, расстояние от пункта А до пункта Б — сто километров. Она говорила: пускай будет сто рублей — и перекидывала костяшки на счетах. С рублями ей было удобней. Да и мне легче...

И вот она тоже доверяла моей бабке карточки, и та, выкупая хлеб, всегда делила его в нашу пользу. А один раз Татьяна Георгиевна высказалась, что хлеба-де меньше. Бабка плечом дернула: перевесь!

И другие продукты бабка тоже выкупала и тоже в нашу пользу, то есть в мою, свою и в пользу бабки Матрены. А тут уж легко догадаться: Татьяна Георгиевна прикреплена к седьмому магазину, возле кино «Ударник»,— там продукты особенные.

Вскоре бабка устроилась в поликлинику гардеробщицей, и нам полегче зажилось. А трудно мы жили потому, что бабка совсем не брала денег у матери с новым мужем, хотя мать была ей дочерью. Бабка говорила: вам самим не хватает. И мать говорила: да-да, такие расходы.

Мать приходила нарядная, надушенная и очень красивая. Я радовалась на свою мать. А когда она родила двойню, то даже гордилась ею. Но с тех пор мать почти не бывала у нас, а если и бывала — денег уже не предлагала.

А бабка и не просила. Она прирабатывала вязаньем, отыскивая заказчиков через Татьяну Георгиевну,— мне шапочку из чужой шерсти выкроила... А те семь тысяч, вырученные за дом, обратила в облигации, в «золотой заем», их как бы вовсе не было.

Когда моя бабка вязала, обычно по вечерам, я очень любила читать ей вслух, но не просто какую-нибудь книгу, а такую, чтоб бабка не понимала, а я понимала и чтоб я объясняла ей.

Не знаю, как я почувствовала, но почувствовала: бабке приятны мои знания, и она связывает с ними наше будущее.

Я стала лучше учиться, потому что книгами, мне понятными, а бабке нет, были учебники. И я рассказывала ей, где начинается река Амазонка и почему царь отменил крепостное право.

Но в то время, в тот дождливый, пасмурный, незимний декабрь, мы очень редко вот так сидели и читали. Бабка работала — это одно, а второе, и главное,— как-то стало вдруг беспокойно.

По городу ходили небритые приезжие люди — с виду не разберешь, нищие они или, наоборот, богачи. В прошлом году украинцы, бегущие от засухи, были такие же — и все-таки другие. Не то чтобы более грязные или голодные — глаза у них были другие. И пленные немцы, которые шатались по домам, навязываясь исполнить какую-нибудь работу,— они тоже глядели другими глазами. Мертвыми. Остановленными... А у этих глаза так и шныряли.

Они заходили в промтоварный магазин и скупали все. Я видела, как двое таких людей в расстегнутой шинели, в шапке-ушанке, одно ухо которой свисало, а другое стояло торчком,— как они несли через Крымский мост два унитаза каждый — два больших, белых, только что вычищенных и сверкающих на солнце сапога.

Покупали все. Цены вещей возросли неимоверно. Мы с бабкой пошли на рынок, и я видела: там покупали черепки стеклянной вазы. Хозяйка случайно обронила, и у нее тут же купили черепки. Даже те, кто торгует ржавыми болтами и прочей железной рухлядью, даже они нашли покупателя. И никто не радовался, что выгодно сбыл какую-нибудь лишнюю завалящую вещь. Все продающие казались несчастными, все покупающие — счастливыми.

Возле сберегательных касс с утра выстраивалась очередь. Люди забирали деньги и бежали менять на черепки, потому что хороших вещей уже не было. Никто не знал, сколько стоит сторублевая бумажка. У Казанского вокзала солдаты-отпускники давали за нее черную буханку, а наша соседка Татьяна Георгиевна — двухсотрублевую облигацию.

Сын бабки Матрены, который приехал в отпуск, но жил почему-то не с матерью, а в гостинице, огромный, краснолицый и словно выпирающий из морского кителя, посмеивался над всеми этими треволнениями. Он был начальником лагеря на Колыме и жаловался Татьяне Георгиевне:

Женщин у нас нехватка. Как придет свежая партия — все начальники ко мне... Хоть бы вы, Татьяна Георгиевна, какое-нибудь преступление совершили! Большим бы успехом у нас пользовались!

Татьяна Георгиевна улыбалась и все расспрашивала, как это начальники выбирают женщин,— глаза ширились и блестели... Облигации она не покупала и даже с книжки забрала деньги, потому что «гуляла».

Бабка советовалась со мной, куда нам девать те семь тысяч, и я неизменно отвечала: не знаю. А она допытывалась, как я думаю,— ведь не маленькая, должна соображать. Она даже так сказала: если бы эти деньги, семь тысяч, были твои, собственные, что бы ты сделала? — но все равно я ответила, что не знаю.

Было воскресенье, и бабка сидела дома, не работала. Чем гадать про деньги — потеряем мы их или не потеряем? — я раскрыла учебник и стала читать то, что нам задали,— главу о декабристах. Как 14 декабря 1825 года вышли они на Сенатскую площадь, был ветер и снег, и красивый Каховский стрелял в толстого Милорадовича... Я не знала, был ли Каховский красивый, а Милорадович толстый, но так мне казалось. Я даже изобразила бабке Милорадовича, пузатого, с оттопыренной губой.

Но бабка плохо слушала меня. Те семь тысяч, которые выручила за дом,— она считала, что цена хорошая, и гордилась своей коммерческой ловкостью,— уж очень ей хотелось спасти их. И пошла к бабке Матрене.

Та сказала, что, если Танька сняла деньги с книжки, это неспроста. Они семейство хитрое. Она, Матрена, и отца Танькиного помнит — Гаврилу. Да, Гаврилу, хоть Танька имени стыдится и переделалась в Георгиевну... Так вот, этот Гаврила держал нос по ветру и уже в году двадцать седьмом учуял, что к чему. Продал хозяйство — и в город. Извозом занялся. А сама Танька на строительство метро подалась. Конечно, где-то в конторе сидела, языком трепала... Нет, чего другого, а деньгами Танька не швыряется, по-умному распорядится.

И мы с бабкой пошли в сберкассу на Центральный почтамт, на Кировскую, и получили деньги за наши облигации.

Все меняли облигации на рубли. Только одна девушка наоборот. Я ее очень хорошо запомнила. Молоденькая, простенькая девочка, ткачиха. Вот, говорит, премию выдали. А что с ней делать? Куплю «золотой заем». Авось чего выиграю. Раз по радио каждый день агитируют, чтоб покупали облигации, то как же они от своих слов откажутся и мне мои деньги не отдадут. И эти ее слова, вместо того чтобы убедить, действовали совершенно противоположно: люди торопливо присоединялись к нашей очереди.

Мы с бабкой получили деньги, и сразу она успокоилась. Дома села вязать, а я пристроилась возле нее на маленькой детской табуретке, которую очень любила. Я была крупная девочка и стеснялась этого. Мне хотелось быть, как мама,— нежной, тоненькой, 34-й размер туфелек... А я была угловатая, неловкая. Но стоило сесть на детскую белую табуретку, я сразу уменьшалась в росте и объемах, и туфельки 34-го размера были мне впору.

Я опять читала бабке о декабристах, но теперь она слушала внимательно. Спросила даже: какого числа бунтовали? 14-го? И сегодня тоже 14-е... А какой же тогда был день?

Нарочно или невзначай, но очень часто она пробуждала во мне интерес к вещам, которые преображали события и факты. Спрашивала, крутые ли берега у Нила, и Нил протекал уже не в Африке, а где-то по соседству с Москвой-рекой... И далекие декабристы, оттого что стояли на Сенатской площади в обыкновенный четверг или в обыкновенную среду, становились сразу ближе и понятней.

Бабка вязала, а я высчитывала, какой был день 14 декабря 1825 года. И вдруг мы услышали, что бабка Матрена колотит в стенку. Потому что в 80 лет достучаться через мощную кладку старого купеческого дома — это и будет колотить. И я подумала, какая была бабка Матрена в молодости,— бедовая, наверно, была.

Мы вошли к ней, и в ту же минуту радио оглушило нас. Диктор читал, что 10 рублей старого образца будут обменены на 1 рубль нового образца. Сберегательные вклады: первые три тысячи рублей — рубль на рубль, а там еще как-то. Облигации: один к пяти.

Бабка стояла сама не своя. Губы ее шевелились, подсчитывая, сколько у нас было бы денег, если бы мы не трогали облигации.

— ...но надо,— читал диктор,— чтобы часть жертв приняло на себя население, тем более что это будет последняя жертва.

Бабка Матрена стала одеваться. Она, кроме церкви, уже давно никуда не ходила. Последний раз мы гуляли 7 сентября, а еще раньше — 9 мая 1945 года. Она тогда сама повела меня на улицу — мать куда-то пропала.

9 Мая был такой праздник, что на улице были все, вся Москва. Но, по малому росту, видела я только спины и небо. А в небе поразил меня один фокус. Может, его и раньше делали, да я не замечала.

Небо колыхалось надо мной, как темное тяжелое полотнище, и вдруг лучи прожекторов разрезали его на куски, как черный бархат, и там, где они сошлись, трепетал и растягивался на ветру портрет товарища Сталина.

Говорили, что портрет подвешен к аэростату, но мне казалось, именно толстые лучи держат его. А оттого что бабка Матрена, сжимавшая мою руку, забормотала свои молитвы, я почувствовала страх, и радость, и какое-то непонятное волнение.

7 сентября был праздник поскромнее, и бабка Матрена пошла со мной потому, что 900-летия Москвы все равно не дождаться, хоть 800-летие погляжу.

И вот — через три месяца — 14 декабря 1947 года. Никакой не праздник.

Иллюминация не горела, не было лозунгов и плакатов, но народ шатался по улице во множестве, и от этого, казалось, было еще темнее. Зато на каждом углу голосило радио.

Все магазины были закрыты. Все рестораны, столовые, кафе, закусочные — все на замке. И народ удивлялся такой слаженности, такой одновременности действий. «Ведь ух ты! Смотри ты! Ловко!» — пожалуй, они скорее забавлялись, чем злились. И брели из улицы в улицу, подгоняемые каким-то азартным любопытством — найти где-нибудь да открытую дверь. Вошли в дежурную аптеку и через минуту раскупили все: от пирамидона до клистирной трубки.

Был особенный день — все стали щедрыми. Старых денег не жалко, а новых еще не выпустили. У тротуара, на Петровке, стояли «эмки», и мои старухи спрашивали меня, не хочу ли я покататься. И я вдруг увидела, что они сами, мои старухи, очень хотят, прямо им не терпится покататься... Шофер запросил 150 рублей, но они не торговались.

Ехали медленно. Шофер поминутно сигналил и тормозил, потому что улица была запружена народом. Около какого-то кафе уже стояла толпа и уже колотили по дверям, и слышен был длинный, пронзительный дворницкий свисток, зовущий милиционера.

Шофер рассказывал, что прошел всю Европу, посмотрел, как люди живут. Потом к себе в деревню сунулся — ну, нет, спасибо! Он так жить не согласен. Знает-понимает, что к чему.

— Думаешь,— сказал шофер,— у кого деньги есть, что-нибудь потеряли? Золота накупили!.. Или там всякие бухгалтеры — свои денежки разом с казенными обменяли... рупь на рупь, понял?.. Народ не дурак, не зевает.

Мы расплатились, впервые сказав о ста пятидесяти рублях — пятнадцать.

— А Коле я позавчера 150 послала,— сказала бабка Матрена.— Тоже, значит, 15 получит. А на что ему? Там тюбик чаю 150 стоит.

Мы шли по темному нашему двору с газовыми трубами на двухметровой глубине. Газ недавно пустили и канавы заровняли, но земли вынули больше, чем положили обратно, и лишняя топкая земля присасывалась к ногам, не отпуская.

— Который год на Колыме,— говорила бабка Матрена,— по лагерям, по ссылкам...

А моя бабка утешала ее: напрасно она убивается. Хоть младший ее, Коля, в лагере, но начальник-то лагеря — старший, Митя. Неужто брат брата обидит?

— Обидит,— сказала бабка Матрена.

Дома нас встретила Татьяна Георгиевна — веселая, праздничная.

— Поздравляю вас с денежной реформой и отменой карточной системы на продовольственные и промышленные товары! — И показала нам новые деньги. Только на другой день их напечатали в газетах.

Я читала историю, но бабка не могла вязать, а сидела и слушала про декабристов. Как солдаты тогда говорили, что, мол, освободили Европу, а господа тиранят народ по-прежнему. А офицеры — было написано в учебнике — увидали другую, заграничную жизнь и оттого по-новому оценили свою.

— С французом злая война была,— сказала бабка,— тоже Отечественная. Много народу полегло... Я отцу твоему, Алексею Мартьяновичу, обещала за тобой присмотреть... и те деньги, семь тысяч, твои были... тебе на обзаведение... приданое... чтоб легче тебе жилось... Ну, читай, читай...

— Давайте, бабушка, ужинать,— сказала я.

И вышла на кухню, чтоб зажечь газ. И долго стояла над конфоркой, и спичка полыхала между пальцами, а из открытой горелки струился газ... Спичка обожгла мне пальцы, и я выпустила ее.

— Какая ты неловкая! — сказала Татьяна Георгиевна.— Прямо на женщину не похожа... вся в отца... медведь.

Она отобрала у меня спички и чайник и сделала все сама.

— Ты должна следить за собой... ты уже взрослая... невеста.— Татьяна Георгиевна улыбнулась.— И богатая... Имеешь комнату в Москве, в малонаселенной квартире, с газом и телефоном... Ну-ка, дай я тебя причешу!

Но я вырвалась и прислонилась к стене. И слышала, как там, за стеной, у себя в комнате, молится бабка Матрена — просит у Бога изменения погоды, чтобы прикрыл наготу и грязь земли, развороченную людьми, проводящими газ, и облегчил ей путь в храм. И чтобы спас Он, Единый и Милосердный, ее сыновей: душу одного и тело другого.



Рисунок Левона ХАЧАТРЯНА

«СЕРВОИМПОРТ»



- СЕГОДНЯ ЭТО АВТОМОБИЛИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ И ПРЕСТИЖНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СОВЕТСКОМ РЫНКЕ:

-ВОЛЬВО
-ОПЕЛЬ
-СИТРОЕН

Мы гарантируем Вам оптимальные варианты покупки с нашего Консигнационного склада.

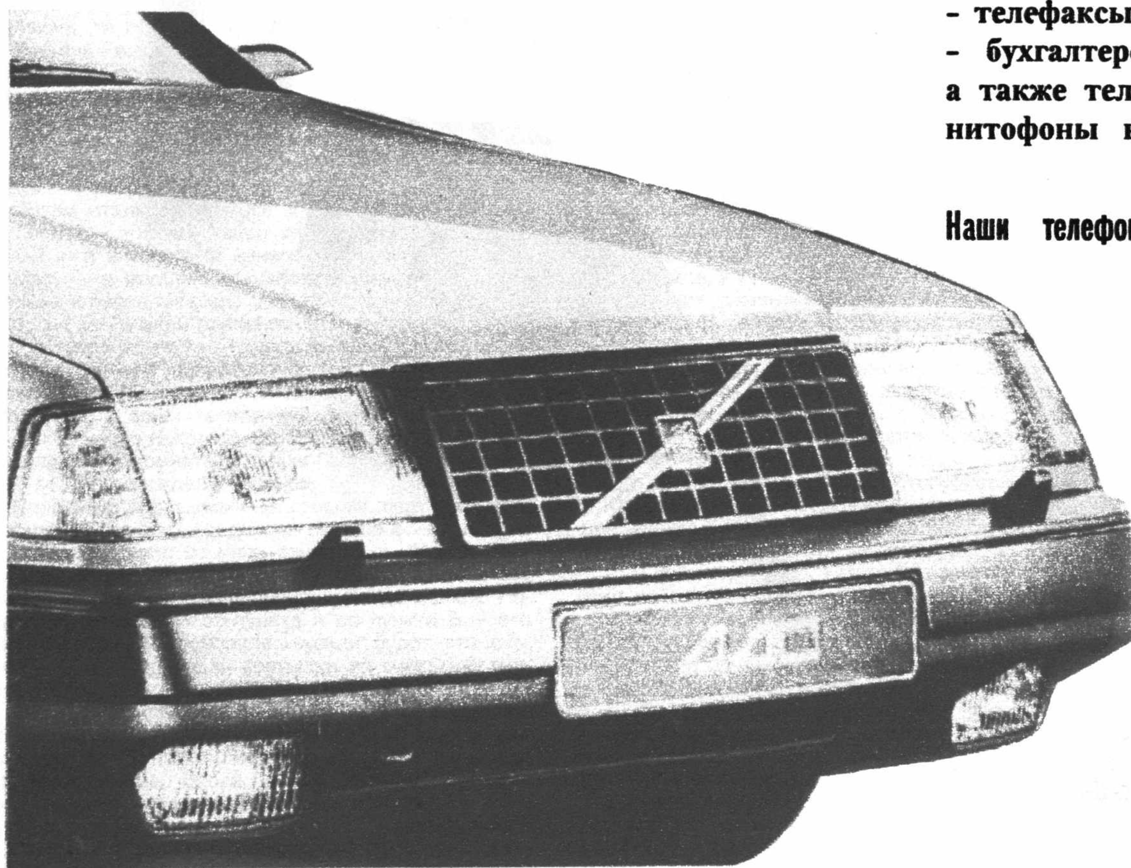
ВАШИ МАШИНЫ ЖДУТ ВАС!
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ!
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРВИС!
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!

Оплата только в СКВ.
Те, кто не обладает конвертируемой валютой, не огорчайтесь.

ДЛЯ ВАС ЗА РУБЛИ:

- телефонные аппараты
- телефаксы и бумага к ним
- бухгалтерские калькуляторы,
а также телевизоры и двухкассетные магнитофоны ведущих производителей мира.

Наши телефоны: 963-23-13, 963-24-22.



Я никогда не бегал с автоматом...

Дмитрий ФИЛИМОНОВ

СТОЛИЦА

В эпицентре страны я люблю, как ни странно, смешенье
языков и плащей, генотипов и архитектур,
где, устав от себя, я вступаю по горло в броженье,
в непорочную связь, в общепит одиноких фигур.

И бабулька с мешком, и посольский откормленный нигер
никогда не поймут, что здесь выше всего и ценней,
как шикарный модерн, безусловный сегодняшний лидер,
никогда не затмит самоцветы российских церквей.

И скользит поутру лабиринтом сквозных переулков
на простор площадей ослепительный солнечный час.
И соборы Кремля, не внимая речам недоумков,
извиваются ввысь от чужих и невидящих глаз.

Только вот у Кремля по ночам — очертанья погоста,
редкий крик воронья режет черную ткань тишины,
и над склепом стены спят на башнях кровавые звезды,
снятся сны им, а мне страшно думать, о чем эти сны.

ПАТРИОТ

«В Италии членом парламента
избрана звезда стриптиза...»
(Из газет.)

В Италии — не только Рим и Пиза.
В Италии... чего там только нет?
Вот факт один — у них звезда стриптиза
парламент превратила в туалет.

И делает теперь, как член палаты,
на страстных избирателей пис-пис.
В Италии... А наши депутаты?
Ну хоть один способен на стриптиз?

Ну хоть один, из области, к примеру,
покинув свой трибунный пьедестал,
в одних трусах сможет войти к премьеру,
да так, чтоб у премьера галстук встал?!

Сомнительно. Но дух патриотизма
живет во мне, как в яблоке червяк.
Мы выдвинем свою звезду стриптиза!
А выдвинув, научим — что и как.

Мы просто итальянцам дали фору.
Мы гласности хлебнули, как никто.
И наш очередной народный форум
еще покажет миру кое-что!

* * *

Я никогда не бегал с автоматом,
ни в юности, ни в детстве. Никогда.
Я никогда не думал стать солдатом
и маршалом. И штурмом города
я никогда не брал. И пленных сроду
я не водил с допроса на расстрел.
И никому не возвращал свободу
и не лишал свободы. И не пел
победных маршей, строем, рожа к роже
по жизни маршируя. Никогда
не рвался в строй. Не жаждал стать похожим
ни на кого. Лишь небо и вода,
и таинства природы покоряли
мой детский ум и после. И сейчас
я не люблю могилы и медали
и не хочу носить противогаз.
. . . .
Война повсюду: в книгах, на экранах.
Ракеты, танки, пушки, даже тир
переносной в портфелях и карманах
несут из магазина «Детский мир».
И целятся мальчишки. Жажда боя
горит в глазах. И каждый хочет быть
похожим на любимого героя
и всех врагов убить, убить, убить...
Я сыну в зоопарке льва когда-то
показывал: «Смотри, какой большой
и сильный зверь!» «А мы из автомата
в него ба-бах!» — ответил отпрыск мой...
Я в детстве много раз встречался с болью.
И узнавал по запаху металл...
И шел с отцом по скошенному полю,
и жаворонка слушал... И мечтал...
И кроху-кулика с птенцами взглядом
я провожал: спешили — в море, в путь...
И звездам пел... И только с автоматом
не бегал я. Ни разу! В этом суть.

ИНКОГНИТО

Однажды, около шести,
я был инкогнито почти.
Впервые в качестве таком
я шел по городу пешком.

А в сквере, крупная, как слон,
стояла девушка с веслом.
От постамента до весла
она чугунная была.

И, как прозрачный кипарис,
росла с весла сосулька вниз.
И лучик солнечный тайком
сосульку трогал языком.

Я был инкогнито почти
в начале долгого пути,
когда с чугунного весла
на землю капала весна.

Я был инкогнито почти,
я мог из города уйти,
я мог из памяти стереть
всю эту каменную бредь,

откуда шпили рвутся ввысь,
когда засасывает слизь,
где Бог не помнит, сколько дней
клопов давили, как людей.

Я был инкогнито почти.
Меня прочли, да не учли.
Вдыхая жизни сладкий смог,
я шел, как чувствовал, как мог.

К ВОПРОСУ ОБ ЭМИГРАЦИИ

Покинуть Родину нельзя,
какой бы ни была уродиной.
Покинуть Родину нельзя
крещенному однажды Родиной.

Покинуть Родину нельзя,
как память вытравить, чтоб набело.
Покинуть Родину нельзя,
она костяк судьбы, как правило.

Покинуть Родину нельзя,
как вырезать кусок истории.
Покинуть Родину нельзя,
но можно съехать с территории.

СОЛОВЕЙ

Остановился поезд на прогоне.
Храпела ночь. В купе воняло рыбой.
И проводник в своем родном вагоне
Оставил дверь открытой, хочешь —
прыгай.

Но я не стал. Не прыгнул. На фиг было
куда-то прыгать, если ехать надо?
Выглядывало бледное светило
из мрачного бесформенного зада.

Чернела в черноте чернуха леса,
и кислород откашливали листья.
И не было большого интереса
в дорожном полотне июньской кисти.

И я уже собрался в гости к дреме,
когда раздался посвист небывалый,
а так свистеть никто не может, кроме
невзрачной птахи, серенькой и малой.

Какой свистец! Какие переливы,
какая трель, и пощелк, и раскрутка!
Какие неизбитые мотивы
на тему помрачения рассудка!

Да-да, любовь! Конечно, нет вопроса!
И я любил, я верил... Я не слышал,
как прозвучал сигнал электровоза,
и как электровоз из леса вышел,

и как он шел по зыбким, смутным
дюнам,
и как летел к туманному рассвету...
Я слушал соловья и спьяну думал,
что это он мне лично, по секрету...



■

Всесоюзный научно-исследовательский институт потребительского рынка и маркетинга Министерства торговли СССР разослал в сентябре 1990 года анкету, содержащую список товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, всего 60 наименований, дефицитных и остродефицитных. В анкете предлагается ответить на вопросы о приобретении этих товаров.

Анкета информирует респондентов, что обобщенные результаты анкетирования предоставляются Министерству торговли и Правительству СССР для принятия более правильных решений в области развития экономики страны.

В связи с этим хочу высказать свое мнение. Анкетирование проводится институтом уже лет пятнадцать с периодичностью примерно пять раз в год, изучается спрос на товары — от эмалированной кастрюли до автомобиля. И это, по-видимому, так «помогает» Министерству торговли и Правительству СССР в планировании выпуска товаров народного потребления, что в торговых предприятиях осталось распродать только что пустые полки и стеллажи из-под товаров.

На Западе изучением конъюнктуры и спроса занимаются фирмы-производители. Они-то и определяют ассортимент и объем выпускаемой продукции для успешной ее реализации потребителям. В нашей стране действует распределительная система, настроенная на распределение материальных благ «сливкам» нашего общества, пользующимся всевозможными и невозможными привилегиями. И не последнюю роль в коррумпировании страны играет торговля, которая, тесно сомкнувшись с высокопоставленными руководящими работниками, присвоившими себе право экспроприировать общенародное достояние и распределять его в тесном элитарном кругу, превратилась в мафиозную организацию.

Нужен ли стране, то есть нам, налогоплательщикам, этот институт изучения конъюнктуры и спроса?

А. ОСИПКОВ
Минск

■

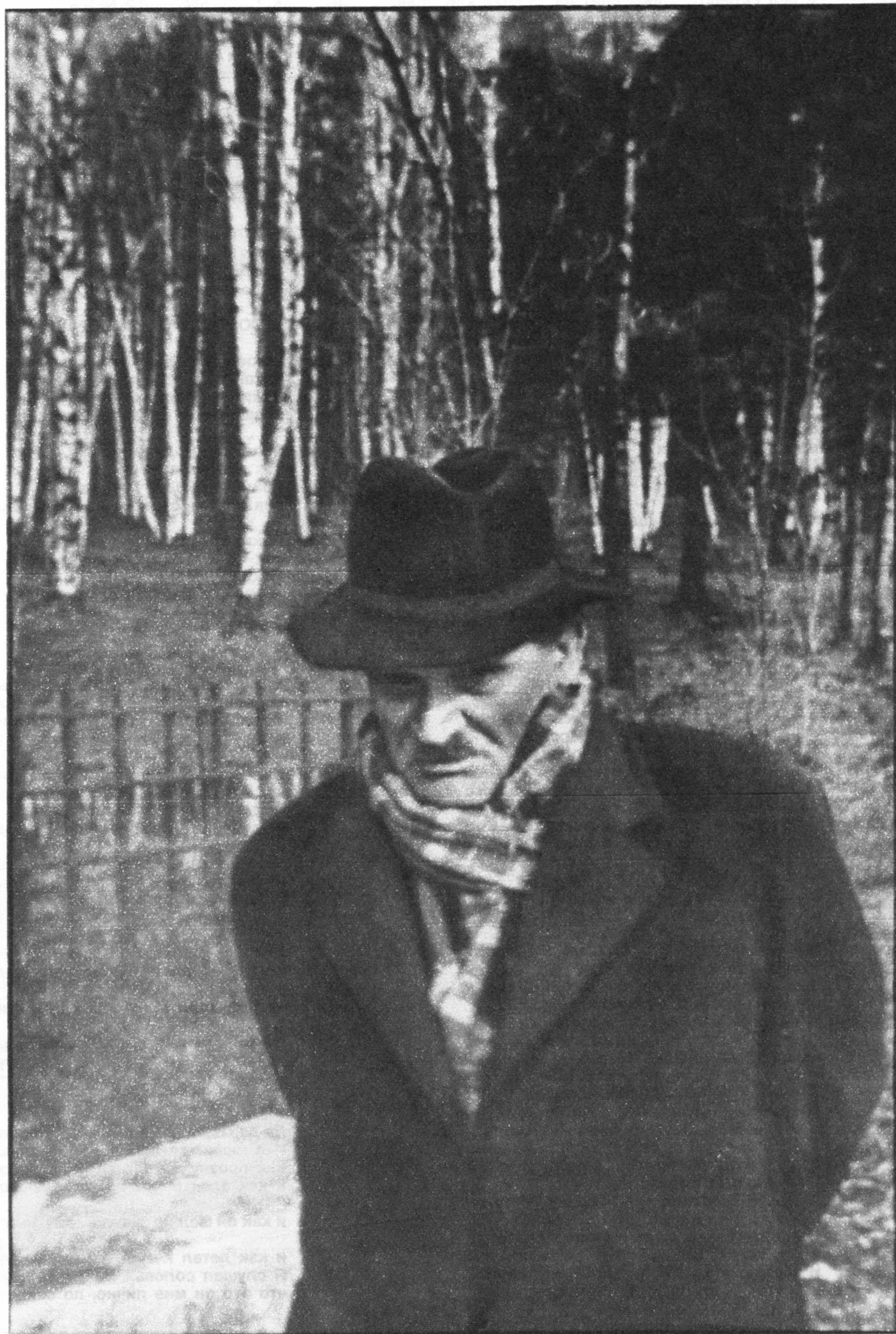
Я пенсионерка, ветеран труда, и сейчас такие, как я, оказались не нужны нашему обществу. Стоишь в очереди час-другой, подходит один из «льготников» и встает... впереди сгорбленной старушки, объясняя это тем, например, что он ветеран войны. А ведь эта старушка в войну на печи не сидела, а выращивала хлеб или стояла у станка под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Я понимаю, когда инвалиду, ветерану войны положено бесплатное лечение, лекарство. Но почему ему положен утюг или носки, а мне нет, ему положена банка шпрот или банка сгущенного молока, а мне нет?

Не знаю, кто в этом виноват, но этим распределением поселяется вражда между людьми.

Л. СОКОЛОВА
Кировск

«СТИЛЬ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ...»

РЕЧЬ Ю. К. ОЛЕШИ НА ОБЩЕМОСКОВСКОМ СОБРАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННОМ БОРЬБЕ С ФОРМАЛИЗМОМ И НАТУРАЛИЗМОМ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ, 16 марта 1936 г.



Я боюсь немножко сегодняшней аудитории, потому что она настроена несерьезно и ждет каких-то аттракционов.

Должен признаться, что, когда я прочел статью «Сумбур вместо музыки», где прорабатывали Шостаковича, я растерялся. Первым ощущением был протест. Я подумал: это не верно, Шостаковича ругать нельзя, Шостакович — исключительное явление в нашем искусстве. Эта статья сильно ударила по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась. Я слышал его симфонию, балетную сюиту «Болт», его концерт для рояля. Все это мне нравилось. Я знаю Шостаковича лично, он производил всегда на меня впечатление необычайного человека. Это настоящий артист, от него исходит огромное обаяние,— это личность, которой охотно увлекаешься и внимание которой хочется заслужить.

Когда мне нравится тот или иной художник — я с радостью иду на поклонение ему, с радостью вхожу под власть его индивидуальности. Мне всегда кажутся достойными подражания те отношения, которые существовали между мастерами прошлого. Этот замечательный стиль, когда один художник, сознавая свою цену, никак не считает унизительным для себя признать и даже увеличить цену другого.

Мне нравится в письмах Микеланджело место, где он пишет Бенвенуто Челлини: «Мой великий Бенвенуто, я видел бюст вашей работы. Он прекрасен, как все, что вы создаете. Но мне кажется, что вы неверно поставили его, если бы он был правильно освещен, он казался бы еще более прекрасным».

Этот стиль строгости по отношению друг к другу и вместе с тем умение восхищаться друг другом существовал у мастеров прошлого: Гоголь и Пушкин, Бальзак и Стендаль, Белинский, прибегающий с Некрасовым к юному Достоевскому, все мастера Возрождения.

Когда мне нравится тот или иной художник, я склонен преувеличивать его достоинства и прощать ему все — как бы веря в то, что он не может ошибаться.

Вот именно так я относился к Шостаковичу. Когда

я писал какую-нибудь новую вещь, мне, среди прочего, было также очень важно, что скажет о моей новой вещи Шостакович, и когда появились новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно хвалил их. И вдруг я читаю в газете «Правда», что опера Шостаковича есть «сумбур вместо музыки». Это сказала «Правда», то есть голос Коммунистической партии. Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу? Если я восторгался Шостаковичем, а «Правда» говорит, что опера его есть сумбур, то либо я ошибаюсь, либо ошибается «Правда».

Статья, помещенная в «Правде», носит характер принципиальный, это мнение Коммунистической партии — значит: либо я ошибаюсь, либо ошибается партия. Легче всего было сказать себе: я не ошибаюсь и отвергнуть для самого себя,— внутри,— мнение «Правды». Другими словами, оставшись с убеждением, что в данном случае партия говорит неверные вещи, я бы допустил возможность того, что партия ошибается. К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям. У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии. Эта линия есть забота и неусыпная, страстная мысль о пользе народа, о том, чтобы народу было хорошо. Это есть генеральная линия партии. Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о которой я думаю и пишу, для меня лично рухнет. Если я не соглашусь со статьями «Правды» об искусстве, то мне должно перестать нравиться многое из того в этой жизни, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым. Или то, что Литвинов ездит в Женеву и произносит речи, влияющие на судьбы Европы. Или то, что советские стрелки состязаются с американскими, или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитируются печатью всего мира.

Если я не соглашаюсь со статьями «Правды» об искусстве, то я не имею права получать патриотическое удовольствие от восприятия этих превосходных вещей — от восприятия этого аромата новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится и который говорит о том, что уже есть большой стиль советской жизни, стиль великой державы.

Если я в чем-либо не соглашусь с партией, то вся картина жизни должна для меня потускнеть, потому что все части, все детали этой картины связаны, возникают одна из другой, и ни одна из них не может быть порочной.

И потому я соглашаюсь и говорю, что и на этом отрезке, на отрезке искусства, партия, как и во всем, права. И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то... я не могу подобрать термина... какой-то пренебрежительной. К кому пренебрежительной? Ко мне.

Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут. Это видно во всем. В походке. В манере курить. В приподнятости плеч. Кто-то сказал, что Шостакович — это Моцарт. С Моцартом соединяется понятие, затрепанное его биографами, но истинное, если вспомнить пушкинский образ Моцарта,— это понятие лучезарности.

Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича. Эта пренебрежительность к черни и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича — те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас.

Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, и названы в «Правде» — сумбуром и кривлянием. Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира — я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему и это меня принижает. И, наоборот, когда из-под тех же пальцев льется ясная мелодия, тогда Шостакович, сидящий за роялем, юный, во фраке, с растрепанными волосами — является образом той лучезарности, которая так дорога людям и за которую люди так любят настоящих художников.

Товарищи, не будем скрывать: мы очень часто пишем друг для друга. Нам очень часто бывает важней похвала кого-нибудь из тех, кого мы считаем знатоками, чем похвала слушателя или читателя.

Корни этого явления в том воспоминании, которое осталось у нас, что народ ничего не понимает, что вкус — это достояние маленькой группы. Виновато в этом также и то время, когда ответственность за вкусы народа брали на себя литераторы и писатели, которых мы не слишком уважали,— я имею в виду эпоху РАППа.

В ту эпоху мы замкнулись, мы реагировали на РАПП уходом в себя, в кучку друзей, и представление о народе, о массе стало для нас тягостным, благодаря РАППовским перегибам.

Я убежден, что многие кривляния музыкантов возникли оттого, что они пишут друг для друга, или — о чем речь будет позже — оттого, что они оглядываются на Запад.

Шостакович представляется мне композитором очень плодовитым, легко творящим, щедрым, богатым — и он может писать именно так, как это нужно народу. И я понял, что «Правда» ударяет по нему именно за пренебрежительность и замкнутость.

У нас нет рухнувших артистических репутаций. У нас есть замечательная особенность в стране — наша, именно советская, особенность новая и смелая. Когда артист понравился народу, его возносят очень высоко. Когда молодой Бабочкин, сыграв Чапаева, понравился народу — ему против всех правил и традиций дали звание народного артиста.

И если любой из тех музыкантов, кого теперь прорабатывают — Шостакович, Книппер, Шебалин — напишет оперу, которая будет нужна народу, его вознесут высоко и наградят орденом.

У нас совсем особая жизнь, и у нас видят правду.

Все дело в том, что у нас единственно, от чего отталкивается мысль правителей,— есть мысль о народе. Интересы народа правителям дороже, чем интересы того искусства — так называемого изысканного, рафинированного, которое нам иногда кажется милым и которое в конце концов является так или иначе отголоском упадка искусства Запада!

Товарищи, читая статью в «Правде», я резко отделяю статьи «Правды» от чиновничьих загибов, от услужливых медведей, с которыми и сама «Правда» борется.

Так вот, читая статьи в «Правде», я где-то очень далеко, со стороны, из возникших ассоциаций услышал голос того, чей авторитет для меня непоколебим, особенно в том, что называется искусством.

Я подумал о том, что под этими статьями подписался бы Лев Толстой. Я не собираюсь находить сходства между духом Толстого и духом тех строителей социализма, которые управляют нашей страной. Это разные и противоположные вещи. Но страстная неистовая любовь к народу, мысль о страданиях народа, которые надо прекратить, ненависть к богатым классам, к социальным несправедливостям, презрение к так называемым авторитетам, ко лжи — эти черты объединяют великого русского писателя с вождями нашей великой Родины. (Аплодисменты).

Я вспомнил в статье «Что такое искусство» место, где Толстой подвергает новых тогда французских поэтов Бодлера и Верлена и других беспощадной, злой, тонкой критике. Во главе угла ее стоит требование ясности и мысль, что они непонятны народу.

Читая эту статью, я не отказываюсь от любви к Бодлеру и Верлену, но чувствую великую правоту Толстого, так же как, читая статьи «Правды», я не отказываюсь от любви к Шостаковичу, но чувствую великую правоту этих статей.

Великое искусство не может быть не народным. Я помню яростное стремление Маяковского быть признанным народом, его эстраду, выступления на заводах, его прислушивание к мнению читателей, к признанию. Маяковский, источник творчества которого покоится где-то во французской живописи, кубизме, умный, огромного роста, поднимавшийся головой над остальными, видел, что дело не в словесном удовлетворении самого себя причудливыми тайнами недосказанного аффекта, как это делали Бодлер и Верлен, а в том, что есть народ и главная слава есть слава, которой награждает народ.

Существует убеждение, что искусство, понятное народу, лишается несколько тонкости, изысканности и формальной полноценности. Это положение опровергается примером того же Толстого, который, решив в своем духе служить своим творчеством только народу, создал на закате жизни наиболее совершенные по форме произведения: «Чем люди живы», «Божеское и человеческое», «Фальшивый купон». К сожалению, случаи, когда современники не понимают художников по причине их сложности, есть, но это непонимание ничего общего не имеет с тем раздражением, которое возникает при восприятии формальных ухищрений Бетховена. Также не сразу понимали его. Один ценитель музыки, просматривая его ноты, сказал: «Я не понимаю, как это можно вообще исполнить». Но это неясность другого рода, и формализм не имеет права ссылаться на примеры такого порядка.

Статьи «Правды» многими были поняты как отрицание художественности, как удар по художественности. Но ведь человек не может не мыслить образно. Все песни и поговорки образные, а не формалистичные. За этим образом всегда стоят идея и чувство.

Можно без конца приводить примеры — метафорический язык из Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. «Экспорт революции — это чепуха»,— так говорил Сталин, и это есть метафорическая речь.

Разница между художественностью и формализмом в том, что формализм рождается из пустоты. Художественность приходит тогда, когда идея — могущественная, но голая, требует одежды. Когда идея продумана, слова, как дети, прибегают сами. Есть колоссальная разница между побрякушкой и метафорой. Когда идея продумана, появляются слова достаточные и необходимые. Это лучше всего доказывается на примере науки, на том, как выражаются ученые. Меньше всего можно заподозрить ученых в желании красиво выражаться. Однако когда ученый хочет определить какой-нибудь факт, тогда у него сами собой рождаются метафоры. Инженер, а не поэт придумал выражение — «усталость металла», анатом, а не художник нашел сходство между ухом и раковиной, между кадыком и яблоком. Это не формализм, а настоящая художественность. От этих определений возникла в результате так называемая оценка фактов, в результате овладения идеей.

У меня в одном рассказе есть место, где я говорю о собаке, которая из ярко освещенного солнцем места вбегает в темный коридор. Я говорю: «Собаку охватил протуберанец». Маяковский, которому я прочел рассказ, спросил: «Что это значит?»

Я начал что-то объяснять — это то огненное кольцо, которое появляется вокруг солнца во время затмения и т.д.

— Вот и надо было написать,— прорычал Маяковский,— собаку охватило огненное кольцо, глупо именуемое наукой — протуберанец.

Маяковский таким образом ругал меня за форма-

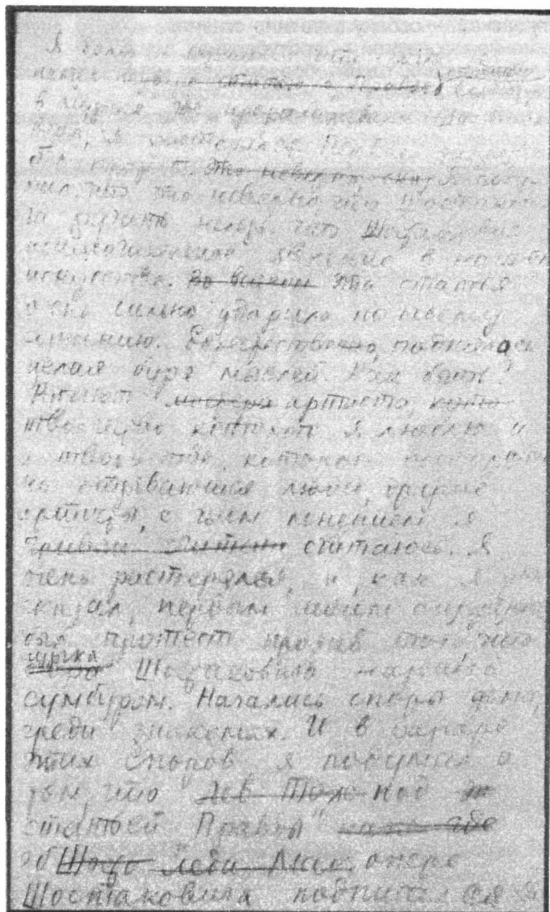
Юрий Олеша и Михаил Зощенко.



лизм, потому что, в самом деле, как можно допускать в рассказе слово, требующее подстрочного объяснения и, тем более, употребленное неправильно, потому что протуберанец вовсе не огненное кольцо, а огненный вихрь газов, а кольцо, о котором я думал, называется солнечной короной. Тем более, было бы глупо говорить, что собаку охватила солнечная корона.

Это и есть чистый формализм. Я думаю, что многие из композиторов, писателей, живописцев, актеров, работая над своими вещами, где-то в душе равняются на Запад. Нам иногда кажется, что поэт стоит вне политического искусства. Когда мы говорим об искусстве, то забываем о том, что в мире существуют непримиримые социальные системы, что есть классовая борьба, что разница между нашей страной и Европой огромна, не только в экономическом и политическом строе, но в самом духе, в самой идее, то есть как раз в том, что выражается в искусстве. Мы забываем, что художник Запада и художник социалистической страны отражают разные идеи и разница между ними еще более существенна, чем между экономистами или солдатами, потому что художник определяет не только ставшее, но угадывает становление, предсказывает судьбу, будущее. Мы, советские художники, разделяем причины от следствий, не только отражаем наш мир, но мы делаем судьбу этого мира совершенно отлично от Европы. Вместе с тем, некоторые из нас думают, что существует мировое содружество поэтов и артистов, содружество искусства, что все художники в Америке и Европе есть дети, затерянные среди войн, дипломатии, государственных актов, среди политических убийств и т.д. Мы любим думать, что в искусстве мир неделим, что царства проходят, а искусство остается. Опять-таки, повторяю, нам кажется, что цех художников обособлен от мира и всегда одинаков. Иногда нам кажется, что все в мире суета и что мы, художники, знаем главное. А главное — это то, что все проходит, люди умирают и рождаются.

До сих пор нам хочется получить признание от Запада. Великий дирижер Тосканини исполняет симфонию Шостаковича. Молодому советскому композитору приятно думать о том, что его признает великий дирижер Запада. Признание Западом, скажем, Стравинского, имеет для нас какое-то особое значение. До сих пор странное уважение вызывает к себе Шаляпин, потому что он был русским и стал знаменит в Европе. Когда переводят наши книги на Западе, это удовлетворяет наше тщеславие, и мы не думаем о том, кто нас читает, как читают и как относятся к тому, что читают. До сих пор мы относимся к западному искусству эпохи, как к передовому искусству эпохи. Забыто главное: что великая идея, которая создала великое западное искусство, уже умерла. Этой идеи нет. Шпенглер — враг, идеолог фашизма, и тот говорит: «Не может быть больше великой западной музыки. Композиторам осталось только развлекаться причудливыми сочетаниями звуков». А наши композиторы, равняясь на Запад, думают, что эти сочетания звуков — это и есть передовое искусство мира, и вносят его в свои произведения, то есть создают то, что в «Правде» названо сумбуром и кривлянием. До сих пор нашим живописцам важно, как рисует Пикассо, архитекторам — как строит Корбюзье, писателям — как пишет Джойс. А между тем уже появляются на Западе люди, которые отворачиваются от западного искусства. Эти люди стремятся к нам. По миру мечется нервный, вдохновленный, умный Мальро, и всякий раз он прилетает к нам. Он более рафинирован, чем все наши формалисты, он более утончен, более видел и знает, однако его душа, душа настоящего артиста, видит, что идея Запада умерла, и он знает, что новое у нас. Неужели ему, который даже такого большого, такого первого в своем смысле художника, как Пикассо, считает уже мертвым — неужели ему интересны эпигоны, подражатели, эклектики, какими являются наши формалисты?



Когда читаешь западных писателей — вдруг открываешь следующее: главная мысль, которая владеет этими писателями, это — мысль о смерти. Начинает казаться, что человечество еще никогда так не боялось смерти, как теперь. Может быть, в средние века. Но в средние века была вера в бога, в загробную жизнь, и тогда мысль о смерти и страх ее приобретали более торжественные, более музыкальные формы. Теперь художник Запада не верит в бога и мысль о смерти, о бренности живущего приводит его вообще к отрицанию ценности и смысла жизни. И главное — к отрицанию красоты жизни. Есть художники, тоскующие об этой красоте и утраченной ценности мира, как, например, Хемингуэй, есть художники, как, например, Джойс, с громадной мощью, разрушающие самое возможность существования красоты. Джойс в своем анализе — не диалектическом, а в протяженном и не конструкторском анализе — сводит все к физиологии, к отправлениям, к дурным запахам и т.д., то есть как раз к тому, что названо у нас грубым натурализмом.

Мы знаем, что страх смерти возникает потому, что умирает старое общество. Буржуазная Европа, художники Запада не все об этом знают. И им кажется, что тема смерти есть единственная для современного человечества тема.

И вот некоторые из нас оглядываются на этот, боящийся смерти Запад. Никакой творящей идеи у художников Запада нет. Они развлекаются формой. Вместо мощных разговоров Бетховена с богом, с судьбой и смертью сейчас остались только причудливые сочетания, разложение ткани, интерес к странному, к сокровенному, к сумасшедшему.

Некоторые из нас переносят это на нашу почву. И, конечно, народ, чья сущность в наши дни есть рост и молодость, не понимает, что это такое, зачем это, почему, откуда это.

Товарищи, говорят о некоторой неясности в формулировках «Правды» о том, что такое формализм и что такое натурализм. Для меня это есть разговор об идеях. Об идее Запада и о нашей идее. Этот разговор о том, что такое различный подход к миру действительности, к вопросам жизни и смерти.

Для того чтобы объяснить эти термины, я опять обращусь к Джойсу. Вот прославленный писатель Запада. Действительно, он очень хорошо пишет, если хотите, это гениально — я знаю отрывки и много расспрашивал о нем тех, кто хорошо знаком с его творчеством, и просил цитировать. Пример Джойса дает возможность поставить вопрос о том, что такое художник вообще. Товарищи, художник прежде всего — конструктор, а не разлагатель, художник создает мир, свой прекрасный мир. Художник должен говорить человеку: «Да, да, да», а Джойс говорит: «Нет, нет, нет». «Все плохо на земле»,— говорит Джойс. И поэтому вся его гениальность для меня не нужна. И поэтому, несмотря на то, что Горький формально мне менее интересен, чем Джойс, я все-таки знаю, что Горький, всю жизнь говоривший о человеке, искавший правду, конструировавший сверкающую сферу своего мира, говоривший человеку: «Да, да, человек — это звучит гордо»,— для меня Горький великий писатель, а что такое и в чем смысл Джойса — я сказать не могу.

Чтобы понять, что такое формализм и что такое натурализм, и почему эти явления враждебны нам, я приведу пример из Джойса. Этот писатель сказал: «Сыр — это труп молока». Вот, товарищи, как страшно. Писатель Запада увидел смерть молока. Сказал, что молоко может быть мертвым. Сыр — это труп молока. Хорошо это сказано? Хорошо. Это сказано правильно, но мы не хотим такой правильности. Мы хотим не натурализма, не формальных ухищрений, а художественной, диалектической правды, а с точки зрения этой правды молоко никогда не может быть трупом, оно течет из груди матери в уста ребенка и поэтому оно бессмертно. (Продолжительные аплодисменты).

Подготовка текста И. ОЗЕРНОЙ

«ДИКТАН НЕ УНИЖАЮ НАС»

«История — не знание того, какие события следовали одно за другим. Она — проникновение в душевный мир других людей, взгляд на ситуацию, в которой они находились, их глазами и решение для себя вопроса, правилен ли был способ, с помощью которого они хотели справиться с этой ситуацией. До тех пор, пока вы не сможете представить себя в положении человека, находящегося на палубе военного парусника с бортовыми пушками короткого боя, заряжающимися не с казенной части, вы даже не новичок в военно-морской истории. Вы просто — вне ее...»

Р. Дж. КОЛЛИНГВУД.

Стенограмма этой речи целиком публикуется впервые. Частично же она была напечатана дважды. Сначала — с большими сокращениями, редакторской правкой и фальшивыми «аплодисментами», расставленными в нужных, на взгляд редактора, местах,— она появилась в «Литературной газете» 20 марта 1936 года под заголовком «Великое народное искусство». А следующий раз — не так давно. В десятом номере журнала «Знамя» за 1987 год М. Алигер в «Печальной притче» приводит довольно крупные выборки из этого выступления. Она публикует именно те отрывки, в которых речь идет об оценке писателем музыки Д. Д. Шостаковича — отклике на редакционную статью газеты «Правда» «Сумбур вместо музыки», заклеймившую формализм композитора. М. Алигер считает сказанное Олешей компромиссом, приведшим его впоследствии к творческому краху, предательством по отношению к искусству и оскорблением Шостаковича, «теряющего зрение от обиды».

В результате дважды исказилась суть сказанного Юрием Карловичем — речь была выхвачена из контекста, из атмосферы собрания, для которого она писалась.

Так в какой же обстановке проходило выступление Олеши и как восприняли его писатели, собранные накануне 1937 года для решения своих и чужих судеб?

Общемосковское собрание писателей проводилось семью заседаниями с 10 по 31 марта 1936 года, было созвано для обсуждения директивных статей «Правды» и других газет, призывавших к борьбе с формализмом и натурализмом. Председательствовал здесь П. Павленко, выступали: Н. Асеев, Вс. Иванов, И. Катаев, А. Лейтес, В. Лидин, Л. Никулин, Ю. Олеша, П. Романов, В. Ставский, А. Сурков, М. Шагинян, В. Шкловский и многие другие.

В папке ЦГАЛИ, кроме текста речи Олеши, находятся еще и стенограммы выступлений других участников «дискуссии». И почти в каждом из них, начиная с 19 марта (со следующего заседания после того, на котором выступил Олеша), дается оценка этой речи. Вот выдержки из некоторых стенограмм.

Из выступления К. Зелинского 19 марта 1936 года.

«Выступление Юрия Олеши в прошлый раз подчинило многих своему поэтическому обаянию. Оно было искренно и патетично. Но по существу оно явилось ничем иным, как очередным признанием

ТЫ...

Т

советской власти после очередного внутреннего конфликта с нею. Этого мало. От талантливого писателя ждут, чтобы свое поэтическое ощущение нового мира воплотилось не в декларациях, а в произведениях. А их-то и нет. Почему «список благодеяний» у Елены Гончаровой оборвался на первом слове? Почему клубок кавалеровских чувств засел в ней? Вот что нужно распутать Олеше самому и всем нам. И такая самокритика помогла бы двинуться вперед Олеше, а не новое подтверждение своего советского патриотизма». (Там же, лл. 171—172).

Из выступления А. Лейтеса 26 марта 1936 года.

«С одной стороны,— говорит Олеша,— я очень люблю гениального растрепанного Шостаковича». Ему трудно согласиться со статьей в «Правде», но ведь «Правда» связана со страной социализма, которая доставляет Олеше много патриотических удовольствий. И вот Олеша взвешивает на весах: «Что больше перевесит — любовь к Шостаковичу или любовь к Родине?» Олеша подтвердил, что любовь к Родине весит больше, чем любовь к Шостаковичу. Это очень мило со стороны Олеши, что он в тысячу первый раз признал советскую власть. Но разве тема наших совещаний — тема любови Олеши к Шостаковичу, разве для того мы здесь собрались, чтобы искать оправдания статьям «Правды» в статьях Толстого об искусстве? Совсем нет. В то время, как страна требует от нас решительных сдвигов в искусстве, Олеша пишет психологическую новеллу о своей любови к Шостаковичу. Разве к тому сводится вопрос о формализме Юрия Олеши, что он где-то, когда-то написал неудачную фразу о собаке, охваченной протуберанцем? Разве к тому сводится борьба с формализмом, чтобы найти неудачную метафору у Джойса?» (Там же, лл. 50—51).

Из выступления И. Катаева 31 марта 1936 года.

«Стыдно тов. Олеше говорить в таком подлинно кавалеровском стиле об огромных, серьезных и чистых явлениях нашей жизни! Несносно это зрелище человека, который водрузил себя в центре мироздания и здесь осанисто примеривает на свой рост и вкус, на свое удовольствие или неудовольствие важнейшие события времени. И весь смысл и тон этой речи щегольской и фальшивой в самой своей первооснове показывает: говорит литератор, не взрастивший у себя за эти годы ни зерна гражданственности, не воспитавший в себе настоящего боевого общественного духа, говорит все этот же не строевой интеллигент, шаткий, впечатлительный и слабый». (Там же, л. 32).

А после опубликования текста речи в «Литературной газете» 20 марта Юрий Карлович получил письмо от М. М. Зощенко:

«Дорогой и милый мой Юрочка!

Прочитал твою речугу в «Литературке» и вот вдохновился тебе написать сие письмецо (в том стиле, который нравится тебе и Микельанджело).

Наверно ты эту речугу не сказал, а зачитал по бумаге?

Это очень хорошо написано! Так предельно изящно и с такой высокой грацией и так божественно умно, что наверно каждому радостно, кто разбирается в нашей словесности.

Мне снова очень захотелось с тобой повстречаться и с тобой поговорить, как было прежде.

Я снова подумал, что каждые твои две строчки — лучше целой груды книг — вот такое у меня ощущение, когда я тебя читаю. (Кроме пьес.)

Как это всегда выходит неуклюже и по-варварски, когда тебя «задевают» либо советуют побольше писать. Как будто ты сам не знаешь. И как будто тебя подстегнут дурацкие слова. У тебя такой блестящий ум, как редко бывает.

Мне все думается, что если у тебя и бывают «заминки», то это (очень удивительно) — поиски формы, той формы, в которой тебе легко и будет просто писать.

Из всех наших бесед об этом и из всех твоих отрывков я снова с ясностью вижу, что все твои поиски (возможно, и несознательные) упираются именно в это дело — почти формалистское.

Мне почему-то снова думается, что твоя форма — это «Анатоль Франс в халате». Это маленькие заметки, отрывки, маленькие куски или что-то вроде новелл, но не новеллы. Это будет неприятно, если у тебя будет так же отшлифовано (сюжетно), как у меня. Все это с легкостью можно обрамлять той философией, которой ты занят...

Хотя сейчас все литературные речи сводятся (в основном) к «унижению» формы, но именно-то сейчас и есть время, когда следует поискать новые формы, потому что написать роман (обычного образца) — разве что дурак возьмется. Как иногда мне жалко, что мы живем не в одном городе — я очень иной раз о тебе скучаю.

Вот тебе фраза из Б. Челлини, который сказал оскорбившему его художнику: «Такой, как я — один, а такой, как ты,— в каждую дверь ежедневно по десять человек входит».

Вот тебе фраза, которой ты можешь защищаться, когда к тебе будут с чем-нибудь дурацким приставать.

Диктанты же пиши — они не унижают нас, и мы через них не теряем квалификацию.

Ну, прощай. Целую тебя. И люблю по-прежнему, милый мой Юрочка!

Мих. Зощенко. ...»

Нет, не компромиссами была переполнена речь Олеши. Она — очередной классический пример разговора Поэта с властями. А Поэт с властями во все времена говорит на эзоповом языке. Она сродни «уроку» Беранже:

Рассудил я здраво, что сатира,
В видах примиренья, не должна
Обличать пороки сильных мира.
Лучше даже в очи им туман
Подпускать куреньем фимиама...

Она сродни обращениям к Николаю I Жуковского, постоянно хлопотавшего за писателей и друзей, попадавших в беду, или строкам из письма Пушкина к Бенкендорфу: «...В 1826 году я привез в Москву написанную в ссылке трагедию о Годунове... Государь, соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний... и я должен признать, что его величество был как нельзя более прав...»

Все подобные собрания в тридцатые годы непременно проводились по спущенным сверху правилам и спискам. Ясно, что Олеша получил задание выступить по поводу статьи «Сумбур вместо музыки». Отказ от подобного выступления теперь уже всем известно, чем мог караться. Критика в адрес «Правды» была абсолютно не возможна.

И тогда Олеша находит выход в эзоповом языке. Тщательно «загримировав» свою речь, он, пользуясь предоставленной ему трибуной, произносит слово в защиту Шостаковича, создав дипломатическую систему этой защиты.

Он говорит, что «Правда» как всегда права, он «журит» Шостаковича за элитарность, замкнутость и пренебрежительность к нему — Олеше, так формулируя недоходчивость его музыки до простого народа. Но на протяжении всей речи он повторяет вновь и вновь, что музыка композитора, объявленная сумбуром,— гениальна, и прямо заявляет: «...читая статьи «Правды», я не отказываюсь от любви к Шостаковичу».

В речи запластована горькая ирония по поводу «патриотических удовольствий», «психологических последствий» и «картины жизни», которая должна для него «потускнеть», если он в чем-либо не согласится с партией.

Ни одна речь по тем временам не могла обойтись без цитирования вождя или хотя бы без упоминания его имени. И здесь фигурирует Сталин. Но каким образом? «Король метафоры», изысканнейший стилист Юрий Олеша, изобретатель «облака с очертаниями Южной Америки», «сквозняка, певшего, как прачка» и «ветвей с трефовыми листьями», говорит о метафоричности языка Сталина и приводит такой пример: «Экспорт революции — это чепуха».

Да, Олеша выдает «формалистов» Джойса, Бодлера и Верлена (которых невозможно после его слов посадить за колючую проволоку!), бичует себя, но не называет ни одного имени «формалиста»-соотечественника, что в рамках этого собрания было явлением по крайней мере уникальным: выступавшие здесь писатели дружно взялись обвинять друг друга.

Правда, было еще одно крупное исключение — выступление Б. Л. Пастернака. Оно не планировалось руководством, деятельность поэта не вызывала тогда серьезных нареканий и на первом заседании он не был. Но Пастернак узнал, что на собрании обвиняются писатели, которых он считал одними из лучших в советской литературе, достойными уважения людьми. «Накануне следующего заседания он пришел к А. Тарасенкову и, волнуясь, спросил у него совета: «Стоит ли выступать и тем самым рисковать по этому поводу?» Тарасенков сказал, что выступить надо. Присутствовавшие Б. Закс и Е. Крекшин возразили, что выступать не следует, причем Закс впоследствии считал совет Тарасенкова граничившим с провокацией» (Е. Пастернак. «Борис Пастернак. Материалы для биографии»).

13 марта Пастернак на собрании попросил слова и открыто выступил против самой постановки вопроса о формализме в литературе и искусстве. Его речь, конечно, вызвала самую негативную реакцию, и уже 15 марта в «Литературной газете» появилась статья «Еще раз о самокритике», где было сказано: «Пастернаку предложено задуматься, куда ведет его путь индивидуализма, цехового высокомерия и претенциозного зазнайства».

16 марта Борису Леонидовичу пришлось выступать вторично, давать подробные разъяснения по всему сказанному им в первой речи, шутить, извиняться.

Между заседанием с первым выступлением Пастернака и следующим, на котором трибуна была предоставлена Олеше, прошло два дня — время, которого вполне могло хватить для написания текста речи. И кто знает, может быть, именно случай с Пастернаком — реакция на прямой его протест — повлиял на выбор Олеши формы защиты Шостаковича, эзопова языка?

Речь его была тут же «разгримирована» писательской аудиторией и единодушно воспринята словом в защиту Шостаковича. Но одни из собратьев, поняв суть сказанного, тотчас же в публичных доносах выдают Олешу с головой, называя его выступление «психологической новеллой о ...любви к Шостаковичу». А другие в дружеской беседе высказывают ему свое восхищение.

Никого не щадил террор тридцатых — сороковых годов. Вскоре после этого собрания были репрессированы и погибли в лагерях многие его участники. А Олеша, Шостакович и Пастернак, среди других, числились в органах государственной безопасности (в следственном деле Мейерхольда) как члены разоблаченной шпионской троцкистской организации. Олеша вдобавок фигурировал там и как террорист. Только чудо спасло их тогда от ареста и гибели в бериевских застенках.

Судьба уберегла Олешу от физической расправы. Может быть, тут сыграли роль его репутация пьяницы и образ нищего, который он надевает на себя со средины тридцатых годов и носит до конца жизни. «Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка «писатель»,— произнес он в 1934 году с трибуны первого писательского съезда и «замолчал». Он начинал и обрывал на полуслове свои романы, повести, пьесы. Печатались его статьи о Москве, Одессе и Киеве, о спортивных парадах, рецензии на спектакли, фильмы и чужие книги, иногда (редко) появлялись рассказы. Постепенно от него уходила слава.

В книге «Ни дня без строчки», сложенной уже после смерти Юрия Карловича из незаконченных рукописей, разрозненных фрагментов и дневниковых записей, переполненной горечью, тоской и ностальгией по другим, так и не родившимся книгам, мы читаем: «...может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать — и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так».

Власти оставили Олешу в покое, они сохранили ему жизнь, но отняли главное для художника — возможность творить. Репрессиям были подвергнуты будущие, так и не написанные книги писателя. Но прямого шага для собственного выживания им не было сделано. И рукописи, восхвалявшей бы Сталина, не найти в его архиве.

Увы, имя Юрия Олеши замелькало в печати в качестве примера конформизма. «Есть на свете люди — литературоведы,— которые пытаются выдать сейчас Олешу чуть ли не за эталон приспособленчества,— писал в своих воспоминаниях Борис Ямпольский.— Какая ужасная слепота и несправедливость. Да, он был раздавлен, да, в какие-то моменты жизни он тоже хотел втиснуться в кипящую вокруг него пеной жизнь, бормотал какие-то слова.

Но он был высечен из цельного благородного камня, в нем не было ни капли, ни одного капилляра подлизы, карьериста, ему доступны были волшебные видения».

Ирина ОЗЕРНАЯ



■ Кто намерен с прибылью, но дешево и модно ОДЕТЬ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, вам поможет РЭМ! Уцененная по законам рыночной экономики одежда повышенного спроса западных фирм — детский трикотаж, джинсы, свитеры, верхняя и спортивная одежда — за рубли оптом.
Телефон в Москве: 182-52-47.

■ Предприятие «ПРАГМА» предлагает за рубли широкий выбор бухгалтерских калькуляторов фирмы «CASIO» и их аналогов. Поставка со склада в Москве. Минимальный объем партии — не менее 100 штук.
Телефоны в Москве: 203-22-06, 291-28-20.
Телетайп: 114763 ПРАЙС.

■ СНПП «МОРСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» предлагает: программно-технические комплексы на базе ПЭВМ морского исполнения, работоспособные в экстремальных условиях окружающей среды;
«СОВПАК» — сеть пакетной коммутации для передачи данных, телексных и факсимильных сообщений, доступа к базам данных отечественных и зарубежных партнеров;
«ТАРТАН» — систему децентрализованной подготовки данных, передаваемых непосредственно на ЭВМ, либо локальную сеть любого типа, дополнительно объединяя их.
Ленинград, телефон: 262-32-28.
Москва, телефон: 925-67-83, факс: 924-1747.

■ МГП «КВАРТА» предлагает электронные цифровые ПИРОМЕТРЫ серии «Гефест» для дистанционного бесконтактного измерения температуры при прокате, термообработке, сварке, литье, напылении, плавлении. Диапазон температур: 80°...3200°С.
115409, Москва, Каширское шоссе, 31, корп. 44-А.
Телефон: 324-75-02.

■ ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ ВЫ СМОЖЕТЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ на торгах Российской товарно-сырьевой биржи с помощью брокерской фирмы «АЛЬЯНС-ТМБ»! Поделитесь с нами вашими проблемами, и мы обеспечим вам прибыль. Все финансовые расчеты только по факту совершения сделки!
Наш телефон в Москве: 222-20-96, факс: 231-1115.

■ НПО «АЛЬТЕРНАТИВА» поставляет оргтехнику и периферию, настольные издательские комплексы зарубежных фирм, организует наладку и гарантийное обслуживание, обучение персонала. Оплата в рублях.
129010, Москва, ул. Гиляровского, д. 51.
Телефоны: 971-62-36, 151-03-33.

■ ПРЕДЛАГАЕМ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ ОБМЕН, АРЕНДУ, СДАЧУ, увеличение, уменьшение, куплю-продажу жилплощади и любого другого движимого и недвижимого имущества, приглашаем БРОКЕРОВ, ДИЛЛЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ.
103031, Москва, а/я 814.
Телефоны: 292-70-00, 203-89-31.

■ «УНИО-МЕТАЛЛ» и ПО «АВИАКОМПЛЕКС» предлагают свой оригинальный АВТООТВЕТЧИК с цифровой записью речи владельца. Беспрецедентно низкие цены. При покупке более 200 штук каждый шестой автоответчик достанется вам бесплатно.
Телефон в Москве (круглосуточно): 973-26-01.

■ СП «СОВМЕСТНЫЙ ПУТЬ» предлагает малогабаритный сварочный полуавтомат. Предназначен для сварки в среде защитных газов элементов стальных и алюминиевых конструкций. Электропитание от однофазной сети переменного тока.
Москва, телефон: 216-82-23, факс: 216-8627.



СВОБОДНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ СОЮЗА

на уникальный 22-томный

«АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

— репринт берлинского издания 20—30-х годов. Мемуары и документы, вышедшие из-под пера представителей самых разных партий и групп, собранные видными кадетами Гессеном и Набоковым. Вот лишь несколько имен авторов — Родзянко, Колчак, Краснов, Изгоев, Блок, Нольде, Завадский. Революционная смута — со всех точек зрения. Историческая ценность издания неоспорима.

Параллельно в свободной подписке —

«НАШЕ ОТЕЧЕСТВО» (опыт политической истории)»

— двухтомный учебник, обобщающий труд по свежим следам событий, перевернувших самые глубокие пласты исторической памяти. Среди авторов — острейшие умы современности, причисляющие себя к самым разным политическим течениям, здесь работали вместе бывшие диссиденты и нынешние сотрудники научно-теоретических учреждений КПСС. История нашей страны с древнейших до новейших времен. Это равно хороший учебник как для студента, так и для школьника.

ЭТО БЫЛА TERRA INCOGNITA.
ЕЕ ОТКРЫВАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЕРРА».
В случае отказа на подписку в магазине покажите там эту рекламу — пусть считают ее объявлением. Для справок по оптовой закупке и просто для всех телефоны: (095) 275-04-96, 275-05-84, факс: (095) 271-8089. Москва, 109280, Автозаводская, 10, а/я 73.

ЭКАРТ

ПУТЬ К СЕБЕ

Людмила САЛЬНИКОВА
Фото Владимира МАШАТИНА

Сорокалетний Владимир Петрович неделю назад проглотил три швейные иголки. Сбоку на шее у него марлевая повязка — умереть ему не дали. Теперь он лежит на больничной кровати и виновато улыбается врачам. Старается объяснить, что поступил он так потому, что, будучи по натуре человеком совестливым, не мог более сидеть на шее у жены и дочки, хоть и владеет благодатной профессией столяра. Стоит, уже третий месяц стоит его столярный цех: материалов нет. Кому-то радость, отдых, даже праздник, а ему нож острый. И к начальству ходил ругаться, и народ подбивал на митинг, и в газету собирался написать... Беда, что никак нельзя сбежать с завода куда-нибудь в кооператив, поближе к длинному верному рублю, поскольку заказана ему тяжелая работа после операции.

Словом, решил человек избавить семейство от тяжких хлопот по поводу собственной персоны...

Неулыбчивая девушка Надя, зябко кутаясь в больничный халат, ходит по коридору. После сильного отравления таблетками она еще не совсем оправилась. Надю никак не назовешь слабонервной кисейной барышней — работает операционной сестрой. Личные проблемы предпочитает решать сразу и кардинально. Влюбилась, потеряла над собой контроль, впервые пришла домой после девяти вечера и немедленно попала под шквал родительских оскорблений. Выбора между семьей и любимым сделать так и не смогла. Проще оказалось выбрать между жизнью и смертью...

Можно долго ходить по палатам соматопсихиатрического отделения НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, выслушивая житейские драмы пациентов, дивясь разнообразию повседневных поводов, выталкивающих вдруг человека из бытовой рутины навстречу пугающе незнакомой реальности.

За прошлый год через отделение прошло около четырех с половиной тысяч человек, покушавшихся на свою жизнь, из них более половины отпущены домой после оказания неотложной медицинской помощи. Никаких явных психических отклонений у них не выявлено. Обнаружены лишь необъяснимое отвращение к жизни, сплин, «русская хандра», способная завладеть кем угодно. Ведь настроения и чувства неподвластны приказу, они приходят и уходят, не спрашивая разрешения, высвечивая попутно какие-то тайные глубины наших душ.

— Пациентов нашего отделения боятся брать в клинику неврозов и прочие заведения для неврастеников. Там больные только ноют, жалуются на жизнь, но никогда не решатся на крайнюю меру. Наши же уже несколько раз из окон прыгали...

Иван Петрович Дикий — заведующий отделением. Работа приучила его к трезвой оценке людей и текущей действительности. Жизнь там, за окном, и в его больничных палатах — это сообщающиеся сосуды.

— Сколько волн мы тут пережили... То психозы начались по поводу сокращения министерств. Страх был смертельный. А потом уладилось... Кто волновался, перешел работать в совместные предприятия, концерны. Потом большое напряжение чувствовалось перед повышением цен, а после второго апреля люди как бы выдохнули... Да и в магазинах что-то появилось. Знаете, когда у нас был спад самоубийств? Во время тех самых манежных экстазов. Митинги — прекрасная компенсация для психопатов, да-да. Парадокс, но чем больше нагнетаются страсти в обществе, тем спокойнее в нашем отделении. Что-то похожее бывает осенью, когда на огородах картошку копают: суицидов вдвое меньше... Много демонстративных суицидов, особенно среди солдат. Они уже знают, как ремнем шею натереть, чтобы «Скорая» приехала. У парней слабая нервная система, это для них единственная защита от армии... Не выдерживают люди, понимаете... Нынешние нагрузки не каждый вынесет.

Проблема самоубийств касается не только врачей, тут связь со всеми сторонами нашего бытия, и неизвестно, что важнее. Может быть, время года (солнечная погода, говорят, обостряет душевные муки), или пол (мужчины умирают от самоубийств чаще), или даже день недели (по статистике наиболее опасны выходные). Замечено также, что уровень самоубийств находится в обратной зависимости от степени сплоченности общества и в прямой — от возможности членов общества реализовать себя.

Помните, как нам вдалбливали с пеленок: сам по себе ты ничто, только в коллективе ты на что-то способен. Чуть «отбился от стада», вступил в конфликт с окружающими — паника, полная беспомощность. Редкие сильные личности умели быть хозяевами собственной судьбы, основные же трудящиеся массы были приучены искать опору где угодно вовне, но никак не внутри себя. Внутрь заглядывать непривычно и страшно, внутри тревожные сумерки, в которых крепко спит неузнанная, непочувствованная бессмертная душа. Целые поколения так и прожили, не ощутив радости ее пробуждения, не узнав о безграничности внутренней свободы. Потерявшиеся в мире люди, как незрячие, натыкались лишь на безысходные тупики своего существования,



все ниже приникали к земле, придавленные гигантской глыбой неумолимой действительности...

В марте в соматопсихиатрическом отделении появился неожиданный человек. В руке у него была вместительная холщовая сумка, набитая книгами религиозного содержания. У тех, кто переступил через собственную жизнь, заявил он, нет иного пути в этом мире, кроме веры в Бога. Представился: Скрябнев Георгий Александрович, дипломированный врач, верующий. Много на своем веку претерпел за веру, потому, прежде чем прийти к самоубийцам, получил официальное разрешение у идеологического начальства — в горкоме партии, в дирекции и в парткоме НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Получил даже задание: научно исследовать воздействие религии на больного человека.

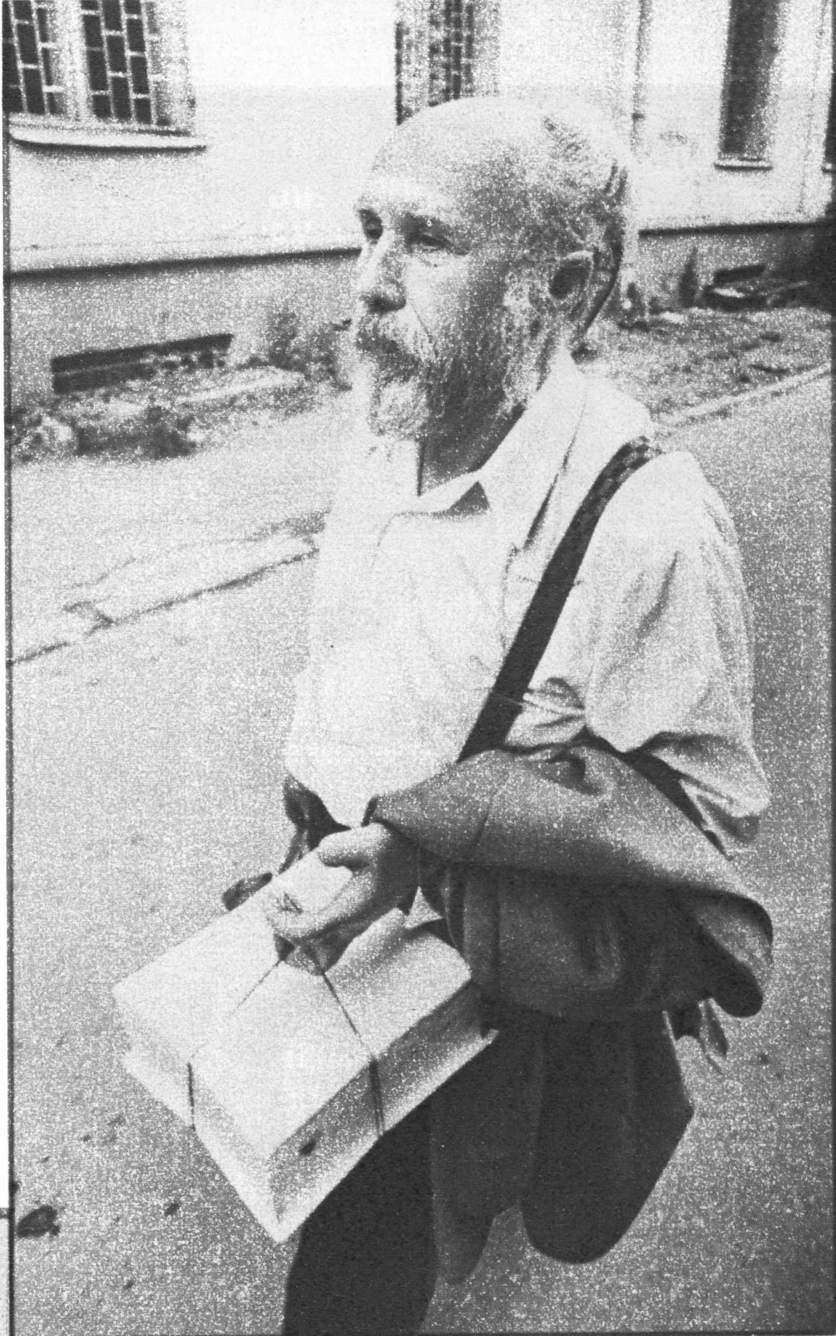
— Жестокость и агрессивность людей не что иное, как общественный невроз, вызванный античеловеческими условиями жизни. Тяга к самоубийству — это самая настоящая болезнь, заболеть ею каждый может. И, что ни делай, как ни внушай, человек все равно рано или поздно сведет счёты с жизнью. Лечить такую болезнь мы не умеем, не знает наука причин ее возникновения. Тут только религия вылечит. Как я понимаю религию? Во-первых, любовь. Во-вторых, истина. В-третьих, здравый смысл. Никуда не денешься. К постижению Бога человек идет через страдания, это правильно, только так можно окрепнуть духом. Духовный труд хорошо душу лечит, эмоции в порядок приводит. Для верующего молитва вместо водки или наркотика, ему ничего больше не надо. Внутри покой и гармония. Чувствую, что боятся пока люди к Богу идти, видно, старые страхи сдерживают, когда за веру могли и покарать... К тому же трудно людям от материального оторваться, не привыкли...

Георгий Александрович тихо входит в палаты, присматривается к больным. Для каждого ищет особое слово, каждому дарит книгу, брошюру. Приглашает прийти в церковь. Одни относятся к его речам настороженно: в мрачных больничных стенах среди отчаявшихся, подавленных людей вдруг слышать призывы к любви и надежде... Другие сразу проникаются, начинают расспрашивать.

— Я хочу, чтоб они пошли к верующим, посмотрели, как те радостно общаются друг с другом, как интересно проводят вместе праздники, выходные. Никто не будет знать прошлого моих больных, лезть к ним в душу. Еще наша церковь хочет за городом пансионат открыть на общественные средства, чтобы человеку, который мечется, страдает, было где переждать, отдохнуть, с мыслями собраться. Я сам вырос в старообрядческой семье, теперь представляю протестантскую веру, но против других вероисповеданий ничего не имею. Был в мечети, в синагоге, в православной церкви, приглашал вместе посещать отделение, везде с готовностью откликнулись. А сейчас обхожу наши политические партии и движения. Зачем? Не имеют ли они чего-нибудь против моей деятельности...

Идея Скрябнева оказалась близкой его собратьям по вере. На счету миссии милосердия церкви евангельских христиан-баптистов уже был к тому времени опыт работы в интернате для детей-инвалидов, в доме престарелых, в подростковой колонии. Помочь по возможности и самоубийцам — дело святое. В один прекрасный день в отделение пришли юноши и девушки с гитарами. Расположились в коридоре. Запели. Непривычные это были песни. Протяжные, красивые, и слова — о Боге.

Больница не самое радостное место. Соматопсихиатрическое отделение тем более. Многие, можно сказать, с того



света вернулись — снова к своим горестям и страданиям. Лица замкнутые, хмурые. Далеко не каждый настроен слушать религиозную проповедь. Кто-то продолжает отрешенно лежать, неподвижно уставившись в потолок, кто-то выглядывает недоверчиво из палаты и, хихикая, крутит пальцем у виска, но кто-то подсаживается к певцам поближе, внимательно слушает.

Пение чередуется с чтением Библии. Когда между выступающими и слушателями появляются токи взаимопонимания, включается электрический чайник, режется на кусочки принесенный с собой торт. В укромных местах начинаются беседы с глазу на глаз, один за другим сыплются вопросы.

— Покаяние — это что? И в чем я должен каяться?

— Почему мы страдаем, а Бог не помогает?

— Неужели после смерти что-то есть?

— Правда, что самоубийство — грех?

Больных всегда интересует, как эти молодые, вполне современные ребята пришли к вере. Живой пример всегда убедительнее книжных истин.

— Михаилом меня зовут, мне 21 год. Честно скажу, ни во что не верил, врал и приспосабливался. Был комсомольским лидером, речи говорил с трибун, звал к чему-то, а потом снимал галстук и строгий пиджак, влезал в рваные джинсы и шел в дискотеку. Диск-жокеем работал. Друзья вокруг тоже не знают, куда себя деть. Хватаются за автомат и едут в какую-нибудь горячую точку, чтобы стрелять, убивать, а потом рассказывать о своем геройстве. Или гоняют как сумасшедшие на мотоциклах, высшее наслаждение — удирать

от погони милиции. Или в теневой бизнес подаются, чтоб потом спиться... Не знаю, чем бы я в конце концов кончил, не случись со мной однажды одного странного происшествия. Переходил улицу и не заметил, как из-за поворота вырулил автобус. Когда спохватился, было уже поздно: автобус навис надо мной, вижу, как водитель побледнел и от ужаса лицо руками закрыл, ожидая самого страшного. Я тоже отстраненно, как бы со стороны подумал: вот и все, конец... А в следующее мгновение вдруг очутился на тротуаре, будто кто-то меня поднял и перенес. Тогда я понял, что мне уготована другая участь. Обратился к Богу и увидел мир другими глазами. То, что раньше казалось самым главным, стало ничтожным...

Наверное, всем нам сейчас необходимо взглянуть на мир, на себя в этом мире иначе. Кончается время нашего тяжкого летаргического сна, который мы принимали за бурную, кипучую жизнь.

Может быть, пришло уже время окончательно проснуться, отбросив поиск новой светлой цели, и вернуться с нехоженых дорог в нормальное человеческое сообщество, в котором живут не по законам классовой борьбы, а по христианским заповедям? Не пора ли обратиться к восстановлению духовной жизни народа, питающей все прочие общественные надстройки?

— Церковь просто ошеломлена полученной свободой,— признается Александр Григорьевич Батылин, один из руководителей миссии милосердия.— Многие из нас оказались не готовы к столь широкому общению с людьми, мало пока у нас настоящих проповедников, есть скорее агитаторы, пропагандисты, неосознанно копирующие методы идеологической работы партийных функционеров. Если раньше государство с жаром внушало людям атеистические убеждения, то теперь с не меньшим жаром призывает их поверить в Бога. Священника можно увидеть и на политическом митинге, и на телевидении, и на рок-концерте. Меня это очень настораживает, тут опасность куда большая, чем в атеизме. Когда церковь шельмовали, отлучали от народа, это в какой-то мере ее только укрепляло. А теперь ее начинают разлагать изнутри, превращая в какой-то яркий, но формальный обряд, в театр... К Богу не прийти организованными колоннами. Когда мы наведываемся в тюрьмы, к инвалидам, одиноким старикам, самоубийцам, то не рассчитываем на чудо. Человек только наедине с собой может прийти к каким-то духовным истинам.

Интересные времена наступили. События разворачиваются точно по антиутопии Владимира Войновича «Москва 2042», и мы скоро того и гляди назовем Иисуса Христа первым коммунистом.

Конечно же, уходом в религию не спасешься от вопиющих экономических и социальных проблем. И все-таки искать Бога, наверное, мудрее, чем врагов народа, жидомасонов, саботажников — кого там еще? Ведь путь к Богу — это путь к себе, поскольку само движение к высокой цели сопряжено с внутренним ростом тех, кто к цели идет.

Вечером неожиданно позвонил Скрябнев.

— Помните, вы удивлялись, почему я хожу по разным политическим партиям и спрашиваю разрешение на работу с самоубийцами? Не чудачества ради это делаю. Ко мне приходили неизвестные люди и спрашивали, не помогу ли я им поставлять самоубийц для политических акций. Это было вскоре после убийства Раджива Ганди террористами. Понимаете? Значит, если люди не дорожат своей жизнью, их можно как камикадзе использовать... Обязательно напишите от моего имени: пусть оставят этих людей в покое! Они не подходят! Они больны... Протест против жизни они направляют внутрь себя, а не на общество. Их надо жалеть, оберегать... А вообще представляете, какие идеи в умах бродят?..

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ



ЭДБЕРГ ВЫБИРАЕТ «ОГОНЕК»

Наталья БЫКАНОВА

Уимблдон прощался со своими чемпионами, и Майкл Штих вместе со Штеффи Граф совершали круг почета перед восторженными трибунами, держа на поднятых руках увесистые красавцы кубки. У советских болельщиков тоже был повод для радостных улыбок. Впервые за всю историю отечественного тенниса наши теннисистки Наталья Зверева и Лариса Савченко стали чемпионками самого престижного теннисного турнира в мире.

«Русские, вперед!» — кричали английские фэны, а герцогиня Кентская из королевской ложи одобрительно кивала седой головой: «Они милы, не правда ли?» Савченко и Зверева — эти две фамилии английские монархи будут теперь вспоминать следом за фамилией Горбачев. Такой чести Наташа с Ларисой удостоились за победу в парном разряде Уимблдонского турнира.

«Это особенный турнир, и победа на нем дает ни с чем не сравнимое чувство»,— сказала Наташа Зверева. Вслед за ней фразу об особенности соревнований повторяют все теннисисты, за исключением Ивана Лендла и Аранчи Санчес, считающих, что трава — это для коров. Но исключение лишь подтверждает правило, и потому попытаемся разобраться, что же такого исключительного в двухнедельном теннисном марафоне. Первое приходящее на ум объяснение — уимблдонские традиции.

Королевская семья украшает собой Уимблдон так же постоянно, как и 2500 бегоний и 3500 гераней, краснеющих в аккуратных деревянных ящиках на всех уимблдонских углах. Члены английской династии радуют глаз, правда, только на центральном корте, где находится королевская ложа, названная бесцеремонными американцами «непозволительной тратой лучших мест». «Это все от зависти»,— отмахиваются англичане от беспородных янки и продолжают обожать очаровательную леди Ди, храня твердую уверенность в ее и собственной британской исключительности.

После каждого матча, освященного монаршим присутствием, английские журналисты задают победителю один и тот же вопрос: «Что вы чувствовали, когда на вас любовалась сама принцесса А., принц Б. или герцогиня Д.?» После чего даже забияка Агасси скромно потупляет хитрые глазки и бормочет что-то про великий энтузиазм, переполняющий его после взгляда на эту самую ложу. Теннисисты принимают правила игры, которым их учит специальный человек, отвечающий за соблюдение установленного этикета. Всякий раз он подробно объясняет спортсменам, в какой момент надо сделать книксен или вежливо наклонить голову и кому пожать руку при награждении.

Королевская династия ассоциируется с Уимблдонским турниром с 1907 года, когда принц Уэльский, будущий король Георг V, посетил несколько финальных матчей. Перед отъездом он принял предложение стать президентом Всеанглийского теннисного клуба и объявил о намерении учредить специальный Кубок Вызова для победителей.

Все трофеи предоставляются чемпионам во временное пользование и должны быть возвращены к началу следующего Уимблдонского турнира. На вечную память теннисистам остаются лишь миниатюрные копии.

К тому моменту, когда нога их сиятельств ступает на центральный корт для торжественного награждения, знаменитый зеленый ковер сияет многочисленными проплешинами. Трава стирается до основания под кроссовками великих игроков, и последние матчи проходят на полугрунтовом-полурастительном покрытии. Мяч отскакивает совершенно непредсказуемо, что заставляет скептиков задумываться над целесообразностью сохранения этих теннисных лужаек, требующих каторжного труда и ручной прополки. Строгое правило — не пользоваться никакими химикатами при уходе за кортами — только добавляет садовникам хлопот.

А ведь было время, когда три из четырех самых престижных теннисных турниров мира — чемпионаты Англии, Австралии и США — проходили на травяных кортах. Первыми в 1975 году не выдержали и перешли на твердое синтетическое покрытие американцы, спустя 13 лет их примеру последовали в далекой Австралии. Лишь англичане, несмотря на изобретение искусственной травы, демонстрируют свой восхитительный консерватизм и продолжают сохранять для истории изначальный образ «лаун-тенниса», как игры на зеленой лужайке. За «работоспособностью» уимблдонских кортов внимательно следит главный смотритель. «Плохо придется тому, кто решит прогуляться по моим кортам»,— предупредил Джим Торн. Кроме того, что на протяжении последних 11 лет этот джентльмен нянчился с капризными уимблдонскими полянками, он создал новую травяную смесь, на 55 процентов состоящую из ржи. «Стиль игры стал жестче,— объясняет главный смотритель,— и трава должна ему соответствовать. Моя трава очень агрессивна, она быстрее прорастает и быстрее восстанавливается, чем ее предшественница».

Характер покрытия, определяя стиль игры, не затрагивает поведения игроков, которые на Уимблдонском турнире сдержанны и корректны, как нигде. Один только Макинрой везде Макинрой, за что и был оштрафован на 10 000 долларов. Ворчун, он обругал матом судью в матче против Стефана Эдберга. «Джону просто необходимо с кем-нибудь поспорить,— заметил невозмутимый Стефан.— Поругавшись с судьей, он начинает играть лучше». На этот раз мат Джона не спас.

Уимблдонским зрителям подобные экстравагантные выходки чужды по самой своей природе. Они воспитанны, неагрессивны и все, начиная с дряхлых старцев, которых тащат на трибуны заботливые руки охраны, инвалидов в колясках, которым отведены специальные места, до младенцев, сосущих клубнику, одинаково благосклонны ко всем участникам.

Пристойно ведут себя и родственники теннисных знаменитостей. Никто не машет кулаками на болельщиков противоборствующей стороны, как это сделал на чемпионате Франции Петер Граф. Услышав адресованную ему фразу: «Моника Селеш обошла вашу дочь»,— папуля полез грудью на говорившего и при всем честном народе слегка выяснил с ним отношения.

Зеленый цвет, как известно, успокаивает расшалившиеся нервы, и потому папы, мамы, братья и сестры соперников мирно сосуществуют в одной ложе.

Папа Дженифер Каприати только и делал, что оглушающе хлопал над самым моим ухом и на корявом английском языке все время приговаривал: «Вперед, детка!» Мама Каприати сидела рядом и тихонечко шипела на дочкину соперницу: «Запори, запори, запори!» Только и всего.

Только всего и сделал один журналист, что задал Беккеру вполне невинный вопрос, правда ли, что трехкратный уимблдонский чемпион расстался со своей самой долгой и глубокой привязанностью Карен Шульц, как получил моральную пощечину от теннисной звезды. «Если вас интересуют подобные вещи, а не сам теннис, вам нечего делать на Уимблдоне»,— разозлился Борис.

Поменял подругу и чемпион Уимблдона-91 Майкл Штих. Его первая любовь Карен Крюгер осталась в их мюнхенской квартире, стоящей 1000 долларов в месяц. В дождливом Лондоне Майкла вдохновляла очаровательная Кристин. Запутавшись в собственных чувствах, двадцатидвухлетний немец в конце концов сел тайком на частный самолет и улетел от обеих красавиц в тихий немецкий город на скромный турнир обдумывать свое непростое житье.

Майкл скрылся не только от поклонниц, но и от журналистов, которые настолько затерроризировали чемпиона, что не постеснялись задать и такой вопрос: «Если вас спросят, а кто, собственно говоря, этот Штих, что вы ответите?» «Неизвестный» чемпион покраснел, опустил голову и, совершенно растерявшись, попросил перейти к следующему вопросу.

Вообще такая бесцеремонность редко встречается на Уимблдоне. Здесь, как ни на каком турнире в мире, стараются оберегать теннисистов от нежелательных контактов. Время послематчевых пресс-конференций жестко ограничено девятью минутами и условием задавать вопросы только на теннисные темы. Пообщаться с глазу на глаз с ведущими игроками для журналиста — дело чрезвычайно сложное. Поэтому, когда я, по наивности новичка, заказала через специально созданную службу интервью с Эдбергом, Беккером, Лендлом и Агасси, на меня посмотрели, мягко говоря, как на инопланетянку. Во время больших турниров звезды не дают интервью пишущей прессе, если только у журналистов нет с ними личного контакта. Право на личное общение дано только теле- и радиокомпаниям, которых так много, что Штеффи Граф часто отвечала на вопросы дольше, чем играла матч.

Узнав, что я из «Огонька», организаторы расчувствовались и взялись уговорить хотя бы одну звезду. «Но сначала,— сказали эти замечательные ребята,— убеди нас в необходимости этого интервью, чтобы идти к знаменитости с аргументами на руках». Целых полчаса я расписывала им наш славный журнал и вместе с ним всю родную перестройку. И, наконец, счастливая, жду своей девятой очереди в маленькой каморке с мягкими креслами и журнальным столом. Стефан Эдберг, а именно шведа, зная его золотой характер, уговорили на экзотичное интервью советской прессе, вошел вместе с положенным по этикету сопровождающим. Сопровождающий молча сидел рядом все пять отведенных на интервью минут. В углу каморки стоял крепкий охранник, и, если бы не мягкий полумрак, можно было бы подумать о местах более суровых, чем теннисный турнир.

— Чем вам было особенно трудно жертвовать ради тенниса?

— С самого раннего детства надо было учиться дисциплине, например, ложиться спать, когда все друзья шли на дискотеку. Это было трудно, но теперь я нисколько не жалею.

— С кем из великих людей прошлого или настоящего вы бы хотели «поговорить по душам»?

— Скорее всего ни с кем. Предпочитаю проводить свободное время среди близких людей: тренера Тони Пикара и подруги Аннет. С ними мне действительно хорошо. В нашем индивидуальном виде спорта это особенно важно. Тем более когда кругом вертится много псевдодрузей, любящих не тебя, а твои деньги.

Призовых Стефан заработал действительно немало — около девяти миллионов долларов. И рэкетиры его не беспокоят. Нет у них такого, чтобы на каждую тысячу кровных и праведных долларов приходился бы один человек с ружьем. На Уимблдоне мускулистые парни охраняют только установленный порядок и так вежливы, что, прежде чем сделать нарушителю замечание, обязательно извиняются. «Я вас так люблю»,— говорит их ласковый взгляд каждому уимблдонскому гостю. Из 5000 человек, вовлеченных в обслуживание турнира, штатными работниками являются лишь несколько десятков. Остальные — добровольцы, которые из любви к теннисному искусству берут ежегодно двухнедельный отпуск за свой счет. Это студенты, пожарные, моряки, инженеры... Следуя важнейшему правилу обслуживания зрителей, они «растворяются в толпе, как призраки», и всегда ненавязчиво предлагают свои услуги: помогают найти место на трибуне, выбрать сувенир, посмотреть за ребенком. Кстати, почти все мечтают поработать на московском профессиональном турнире Кубок Кремля.

Уимблдон бурлил, и единственным спокойным островом в этом людском море казался «Ласт эйт клаб» — «клуб последних восьми» теннисистов, которые когда-либо доходили в этом турнире до четвертьфиналов одиночного и полуфиналов парного разряда. Небольшое летнее кафе с открытой террасой и лица, такие знакомые по старым фотографиям: чемпионы прошлых лет Мария Буэно, Джон Ньюкомб, Илие Настасе... Каждому члену клуба бесплатно выдается билет на каждый день Уимблдона и, учитывая преклонный возраст многих бывших звезд, дополнительный пропуск на сопровождающее лицо. «Ласт эйт клаб» был образован в 1986 году как часть торжеств, посвященных сотому турниру. Среди его членов советские теннисистки Анна Дмитриева, Ольга Морозова, Александр Метревели, Наталья Зверева и Лариса Савченко. Правда, Ларису с Наташей здесь не встретишь. Каждому возрасту — свое развлечение. Наши чемпионки предпочитают более шумную и молодую компанию. Поэтому в воскресенье, 7 июля, после окончания турнира они надели бальные платья, высокий каблук, подкрасили ресницы и умчались на первый в своей жизни Уимблдонский бал чемпионов. Первый и, будем верить, не последний.

БИЗНЕС ПРОТИВ СПИДа

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ и ОРГАНИЗАЦИЙ, БИЗНЕСМЕНОВ и ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Хотите поехать в трехнедельный круиз по Средиземному морю с заходом в 6 стран на комфортабельном теплоходе «ГРУЗИЯ» в бархатный сезон — и ВСЕГО за 9777 рублей, включая выплату суточных в свободно конвертируемой валюте?!

Этот уникальный шанс РАЗЫГРЫВАЕТСЯ 7 августа 1991 года в рамках БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «БИЗНЕС против СПИДа», которую проводят благотворительный фонд «ОГОНЕК»-АнтиСПИД», телекомпания «ВИД» и фирма «Медбиомаркетинг» в ПОМОЩЬ ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом ДЕТЯМ. ВЫИГРЫВАЕТ КАЖДЫЙ ДЕВЯТЫЙ! Организации, перечислившей девять взносов, билет гарантирован. Во время круиза состоится бизнес-семинар.

Желающие принять участие в акции переводят благотворительный взнос 9777 рублей не позднее 3 августа 1991 года ТЕЛЕГРАФОМ на счет благотворительного фонда «ОГОНЕК»-АнтиСПИД» № 700645 МФО 299093 в Оперу Мосбизнесбанка г. Москвы. О перечислении необходимо уведомить ТЕЛЕГРАММОЙ в адрес фонда (Москва, 119847, Зубовский б-р, 17. Издательство «ПРОГРЕСС», фонд «ОГОНЕК»-АнтиСПИД», комн. 524), указав название организации, адрес, контактный телефон, фамилию руководителя (частного лица). От одного плательщика принимается НЕ БОЛЕЕ девяти взносов. Каждому взносу присваивается номер, который сообщается плательщику в недельный срок после получения его телеграммы.

Номера выигравших взносов будут опубликованы в 31-м номере еженедельника «Аргументы и факты».

До 14 августа обладатели выигрышей направляют в адрес благотворительного фонда «ОГОНЕК»-АнтиСПИД» телеграммы с указанием фамилии, имени, отчества и домашнего адреса лиц, которые примут участие в круизе.

ВСЕМ организациям, принявшим участие в акции, фонд «ОГОНЕК»-АнтиСПИД» высылает уведомление о зачислении взноса в качестве благотворительного вклада.

Не забывайте: реальная коммерческая цена билета на подобный круиз 35—40 тысяч рублей. ТОРОПИТЕСЬ!!! Число принимаемых взносов ОГРАНИЧЕНО, а мест в круизе всего лишь 540!

ТЕЛЕФОНЫ для справок: 930-43-65, 474-73-43 (с 10 до 18 час.).

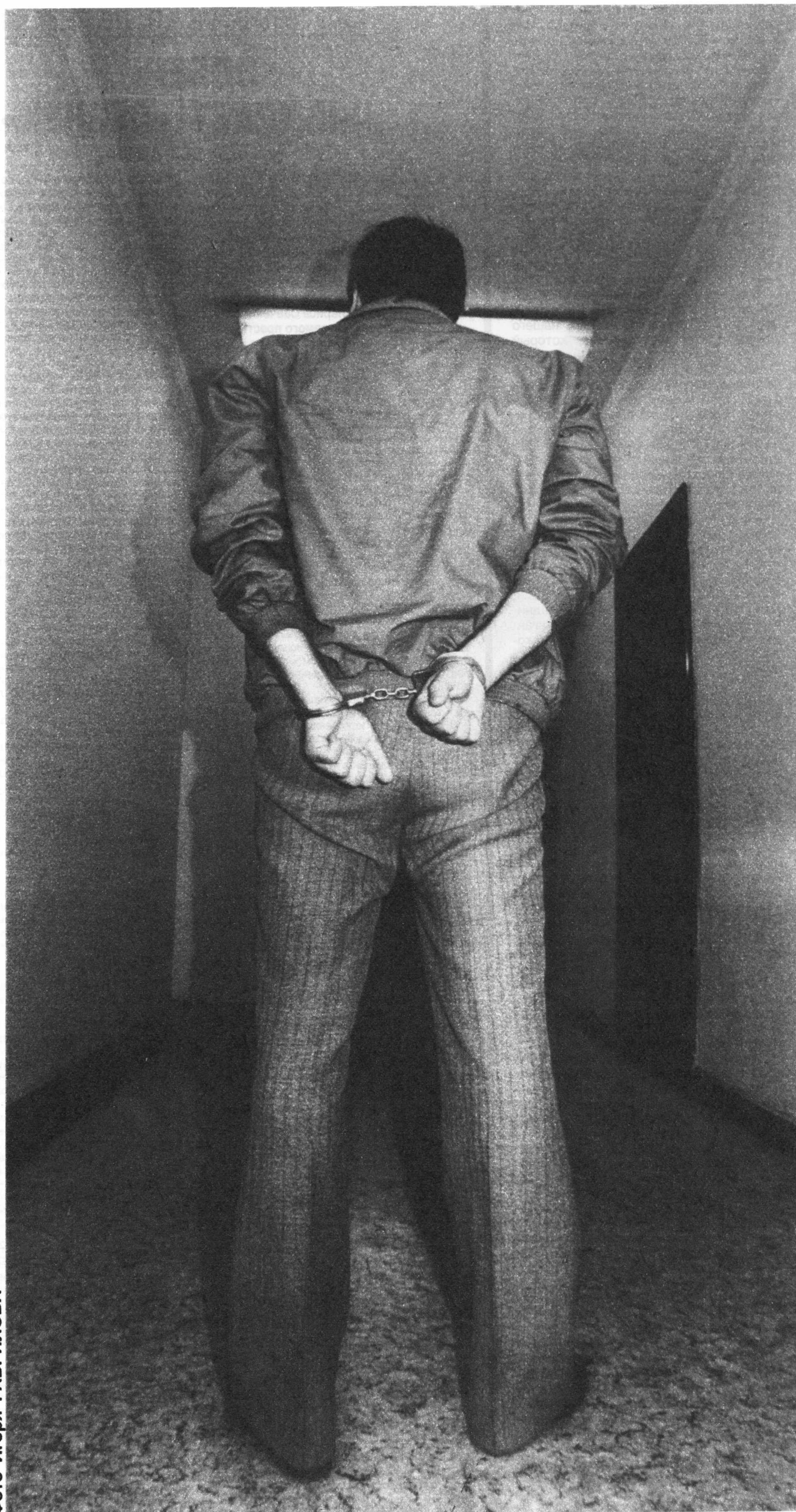


Фото Игоря ГАВРИЛОВА

КРУГОМ ТРИНАДЦАТЬ

Александр МИНКИН

ПОХИЩЕНИЕ

В полночь 28 июня Саша вышел выгулять собаку. Внезапно его зверски ударили по голове. Напялили на глаза спортивную шапку. Из баллончика брызнули в лицо. Кинули в машину. Когда чуток очухался, спросили:

— Понял?

— Понял.

Саша действительно понял. Незадолго до этого ему позвонили:

— Мы знаем, что ты перевел деньги в Польшу.

Бандиты требовали 250 000 долларов. Они знали, о чем говорят. Во время компьютерного бума Саша перевел рубли в Польшу. Рубли превратились в злотые, а злотые — в доллары. (Все законно, поскольку у Саши ПМЖ — Польша.) Теперь ему предъявили счет: якобы он не рассчитался с посредниками (вымогатели, работающие «под Внешэкономбанком»). Кроме того, Саша должен был расплатиться за то, что «продал» другого коммерсанта. (Была ли «продажа» на совести Саши — не знаю. Но этот «другой» был ранее захвачен рэкетирами и освобожден за выкуп в 50 000 долларов.)

Теперь похитители (те же или другие?) оценили жертву в четверть миллиона «зелененьких».

Позвонили Сашиной сестре:

— Саша уехал в командировку. Забери собаку. Понятно?

Сестре было понятно. Брат вышел из квартиры в шортах. Внезапность «командировки» говорила сама за себя.

Сестра вышла во двор, нашла собаку и немедленно телефонировала Наташе, жене Саши, в Варшаву.

Наташа примчалась в Москву. Только вошла в дом — сразу же звонок:

— Или мы получим деньги, или ты получишь мужа по частям.

Оперативность звонка свидетельствовала: бандиты наблюдают за передвижениями Наташи, за квартирой. Звонили, поторапливали: живо собирай деньги — или...

В трубке звучал всегда один и тот же голос. Без мата, без грубостей, но жесткий и угрожающий:

— И не вздумай обращаться в милицию. Или...

Наташа была в плохом состоянии. Еще в Варшаве начала пить транквилизаторы и спиртное. Ничего не ела. Постоянно в истерическом состоянии. В дурмане.

И все же она не сказала бандиту, что УЖЕ обратилась в милицию. Не позволила себе глупости: мол, верните мужа, не то вас поймают.

РАССКАЗЫВАЮТ ПОЛКОВНИКИ

Историю мне рассказывают двое: С. из МВД и Л. из КГБ. Когда все это началось, оба были подполковниками. В момент рассказа — один уже полковник.

Я без диктофона. Записываю на листочках и далеко не все. Тем не менее ежеминутно кто-то из офицеров морщится:

— Это не записывайте.

На что я каждый раз повторяю:

— Первыми будете читать вы. Все, что нельзя,— вычеркнете.

Таким образом, в тексте, который вы читаете, множество больших и маленьких дыр. Дырки эти двух сортов. То, что мне сказали, а потом вычеркнули. И то, что мне вообще не сказали. А чтобы вас не раздражали пустые места, я заполнил их своими безответственными комментариями.

Офицеры жутко уставшие. Не спали около десяти суток. Помятые, измученные. В очереди за пивом никто бы не выделил этих двоих среди смурных мужиков.

— Трудная потерпевшая попалась.

— Что значит «трудная»?

— Неуправляемая. Ей вбиваешь, вбиваешь — кажется, поняла. А звонит бандит, и она отходит от сценария, ломает план. Уступает.

— А какой сценарий?

— Как у Ильфа и Петрова. Утром деньги — вечером стулья. То есть: сначала отдайте мужа, потом получите выкуп. Это было самое главное условие. Мы ей вколачивали (а голова у нее дурная): отдашь деньги — мужа не увидишь. Получив выкуп, негодяи могли убить заложника. Зачем жить человеку, который может их опознать?

«Негодяи» — это не мое определение. С удивлением я слышу, как С. использует культурное выражение XIX века. Специально для меня? Как разговаривают полковники без посторонних? Бог их знает.

— А для нас вариант негодяев — полный провал. Может, они и отпустят заложника, но мы-то их никогда не поймаем. У нас же ничего нет, никаких концов. И опыта мало.

— Как так?

— Нетрадиционное преступление. Только начинает в моду входить. Не так давно за иностранца просили миллион долларов выкупа. Уже по сумме ясно — любители. А в нашем случае — сумма реальная. Видно было, что им известны возможности жертвы. Ведь они ему сто тысяч скостили. Снизили цену до 150 000 долларов.

НАДО ЕХАТЬ

Очередной звонок бандитов. Наташа говорит, что собрала 30 000 долларов. Негодяи грозят убить мужа. И она решает собрать всю сумму полностью. А для этого надо ехать в Польшу. Деньги там, в банке. Этого требовал и муж.

— Как?

— Мы настаивали, чтобы она добилась разговора с мужем. Мол, хочу убедиться, что он жив. А мы надеялись, что он, может быть, как-то даст понять, где находится. Ну и, конечно, хотели заставить их вывести его из тайника.

— ?..

— Они же никогда из дома не звонили. Только из автоматов, из разных, из отдаленных и с большим разбросом. Мы даже район не могли определить. А когда они поведут Сашу к телефону-автомату, есть шанс их засечь...

— И...

— И не вышло. Саша позвонил, приказал: делай, что тебе говорят!

Получалось, что ехать ей придется. Ведь они, несомненно, следят за квартирой. Нельзя три дня просидеть молча, а потом сказать, что, мол, была в Варшаве, привезла.

— А как же вы ее воспитывали? По телефону?

— Что вы! Она же почти невменяемая была. Необходимо было все время быть с ней, влиять, контролировать.

— А бандитская слежка?

— К ней ходили люди, которых, по нашим расчетам, негодяи не могли знать в лицо. Входит человек в подъезд — невозможно определить, в какую квартиру он идет. А в подъезд, как мы предполагали, наблюдатели не полезут, боясь засады. Короче, поездка стала неизбежной. Остановить ее мы не могли. Не ехать — нельзя. А ехать — катастрофа.

— ?..

— Потому что — Польша. А в Польше — беспредел.

НАШИ В ПОЛЬШЕ

Беспредел в Польше — плод нашей демократии. Упрощение и облегчение выезда и въезда породило лавину спекулянтских вояжей. Это общеизвестно. Менее известно, что вслед за деловыми отправились «деловые». В Польшу (и не только в Польшу) хлынули уголовники. Куда переместились отечественные бизнесмены — туда переместились и потрошители. Там их не знают. С почерком их не знакомы. Больше того, польская полиция не рвется в бой на защиту советских «туристов». Нас и вообще не слишком любят во вчерашних соцстранах. А уж наших спекулянтов — и подавно. «Пусть русские сами между собой разбираются». И советские бандиты безнаказанно разбираются с советскими дельцами. Малой кровью на чужой территории.

Это проблема. Это опасный процесс. На приволье уголовники наглеют. Безнаказанность дает им время создавать мощные структуры. Со временем они возьмутся и за аборигенов. Тогда местная полиция спохватится, но будет немножко поздно. Конечно, и сейчас поляков «беспокоят», но в основном «наши» потрошат своих. Хоть это и не слишком патриотично.

...До сих пор Наташа собирала деньги по Москве. Ездила по адресам, которые назвал ей муж по телефону. Но грабануть ее по мелочи никто не пытался.

Теперь почти ничего не соображавшей (постоянно на элениуме), несчастной женщине предстояло получить в Варшаве огромные деньги. И — без охраны.

МОСТ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

— Почему без охраны?

— А кто нас пустит?

Это еще одна тяжелая проблема. Спекулянтов не любят, но пускают. Что же касается наших спецслужб, о них вчерашние союзники и слышать не хотят. Тошнит.

Ехать с Наташей под видом туристов? А если придется действовать? Если поляки обнаружат, что на их территории нелегально орудуют старшие братья? Грандиозный международный скандал. Ноты. Вопли радиостанций. И все это — накануне встречи Горбачева с семеркой!

Не забудьте еще и то, что один подполковник — из МУРа, зато другой — из «конторы». Если дело действительно уголовное — зачем чекист? Как объяснить? И кто поверит? Еще и то надо учесть, что, отшатнувшись от наших, польские спецслужбы (по закону маятника) качнулись к заокеанским... (Но в эти дебри мы сейчас не полезем.)

Ну а самая тяжелая проблема — и советский читатель в этом не усомнится — родное начальство. Муровцы редко работали за границей. Посылать — не посылать? А если посылать — как оформить?

КГБ всегда работал за границей. Но, гм, по другим делам. Ради вульгарной уголовщины нарываться на скандал? Это абсолютно невозможно.

...Саша работал в Польше представителем «МОСТ» (советско-американско-датское СП). Наташа, примчавшись из Варшавы, обратилась в милицию за помощью и в «МОСТ» за деньгами. «МОСТ» и дал те 30 000 долларов. И тут же, по своей инициативе, обратился в КГБ. А именно: в Управление по защите советского конституционного строя — бывшее 5-е, знаменитое охотой на диссидентов, а теперь занятое разными проблемами, в том числе борьбой с организованной преступностью и международным терроризмом (и, говорят, получается успешно, тьфу-тьфу).

«Контора» включилась сразу. Без проволочек «села на телефон», задействовала свои каналы информации. Увы, безрезультатно.

Подполковник С. из МУРа и подполковник Л. из КГБ не успели толком познакомиться, как возникла «польская» проблема.

Решать ее собирались в понедельник.

И — катастрофа. Наташа безнадежно искала билет в Польшу (все билеты проданы навсегда). И вдруг (!) ее знакомая сообщила: есть билет!

— На когда?

— На сегодня.

Это был провал. У Наташи билет, а у подполковников ничего. Хуже того, билет достала Жена Приятеля Подруги (в дальнейшем: ЖПП). Это рождало подозрение, что билет исходит из банды. А значит, Наташу и проводят, и — что еще хуже — встретят. Но еще хуже (а хуже уже некуда) было то, что ЖПП обрадовала:

— Не волнуйся. Я еду с тобой.

Все это означало (могло означать): ЖПП — член банды. Наташа в Варшаве под контролем ЖПП получает огромные деньги. И тут же на нее «наезжают». Малой кровью на чужой территории.

Тут дырка. Без комментариев.

«Добро» начальства было получено. Поляки — согласились. Нехотя, с подозрениями, но согласились. А валюту на поездку дал «МОСТ».

И билеты для подполковников добыл «МОСТ».

— У вас же бронь! На все поезда, на все самолеты!

— Эх, Саша! Когда это было!.. Знаете, ведь и советские выездные визы нам пробил «МОСТ».

— Шутите? Ваша же «контора» тут полновластна.

— Эх, Саша! Давайте не будем о грустном.

...М-да, мы многого не знаем о родной стране. Она еще чуднее, чем кажется.

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ

Наташа ехала в вагоне № 6. ЖПП — в вагоне № 5 (слава Богу — не достала два билета в один вагон). Подполковники — в вагоне № 13 (в досадной дали от милых дам). А кто ехал в вагоне № 3 — не знаю. Никто не знает. Тут дырка. Человека из вагона № 3 мы так и будем называть «№ 3», и старайтесь о нем не думать.

ПОДПОЛКОВНИК С.: Меня колотило от того, что я в тринадцатом вагоне. Хана́, думаю, хорошего не жди.

ПОЛКОВНИК Л.: Зло брало! У меня гости, а я... У меня день рождения — я ж гостей назвал. 8 человек на 19.30. Вдруг: бац! — поезд в 19.20. Жена не поверила. Вернулся, узнал — гости все подмели. Голодные были после работы.

С.: Наташа не знала: едем мы с нею

или нет. Я понимал, что она психует, может лишнее сказать. Пошел гулять. Пару раз прошелся по ее вагону — показался. Когда она осталась одна, вытащил ее в тамбур «покурить». Мгновенный инструктаж, стоим, я как бы кадрюсь. И вдруг в тамбур ЖПП влетает. «Та-ак,— говорит,— мне все ясно». Ужас. Но продолжаю: девушка, вы мне нравитесь и прочее. Попутчица ушла, пытаюсь втолковать инструкции — куда там. С самой Москвы пьет. Я и злился, и сочувствовал. Пытались поужинать вчетвером — не получилось. ЖПП не дала. Утром перед Варшавой подловил Наташу в коридоре. Инструкция: под любым предлогом отстать от ЖПП на вокзале. Адрес и телефон не давать. Но Наташа не смогла отвертеться и дала ЖПП свои координаты.

Подполковников встретили на вокзале сотрудники посольства и польская полиция (в штатском). Впервые за последние полтора года поляки работали вместе с советскими «друзьями». Нервничали. Нервничали все.

Бесконечные подозрения. Вдруг обман? Вдруг провокация? Очень сильно испортилось настроение поляков. Депеша была про одного. Приехали трое. Ждали УГРО — приехала ЧК. Да еще трое. Кто третий? Зачем? Тайная миссия?!

А когда узнали цель визита — заметно напряглись. Как? КГБ вывозит из Польши 150 000 долларов? Очень мило!

С.: В постпредстве поселили. Мало того, что за доллары, да еще в № 13. Ну, думаю, конец. Трясет меня от 13.

Л.: А у меня жуткий флюс растет со страшной скоростью.

С.: А чего ты ждал от 13-го вагона? И началось. В депеше указано 100 000, а мы собираемся вывезти 150 000. Поляки вежливо: куда 50 000 долларов? Что это за операция? МУР вывозит? КГБ вывозит? Или частное лицо вывозит под прикрытием КГБ? Естественные сомнения.

Никаких операций без письма Прокуратуры СССР.

Деньги выпустим, но под гарантию министра МВД СССР.

— Ну, дали бы им письмо Трубина.

— Саша, шутите? Это ж месяц согласований.

— М-да. Но гарантийное-то письмо от Пуго — можно?

— Как же министр даст гарантию? А если в процессе операции негодяи захватят деньги? Кто будет возвращать полякам? Из чьего кармана?

Пошла Наташа в банк. Получила 10 000 долларов. Остальные — злотыми. Поменяла на доллары (там это на каждом углу) — получилось еще 50 000. Но банковский документ только на 10 000. Значит, на границе таможня может 50 000 изъять.

В банк Наташа ходила под прикрытием друзей. На случай, если банда и в Варшаве ее контролирует. Один из друзей обмолвился: Наташа, не считая злотых, получила 19 000 долларов. А она говорит: 10 000. Полковник Л. и раньше подозревал, что она «крутит» им мозги. Теперь его подозрения подтвердились. Зачем скрывает 9000? И как Л. и С. докажут полякам, что ничего не знали о лишних деньгах?

Вдруг в Варшаву Наташе звонит ПП (Приятель Подруги):

— Вылетай самолетом не раньше понедельника, сообщи рейс — встретим, а жене — ни слова.

То есть чтоб ЖПП не знала, когда Наташа возвращается в Москву. Почему? И кто ПП? Сообщник?

В субботу вечером Наташе звонит ЖПП:

— Я тебе целый день звонила (врет, не звонила, телефон слушали). Когда едешь? С кем?

Подозрительно ведет себя ЖПП. Надо отрываться.

Полковник Л. телефонирует Наташе:

— Бери 10 000. Остальные оставь — их не пропустят. Я сейчас за тобой заеду.

— Нет. Повезу все деньги. Мне надо мужа спасти.

Приехал подполковник С. к Наташе, а она его в подъезде полуодетая встречает. Что такое? Вышла посмотреть на площадку, а дверь захлопнулась. Сквозняк. А где деньги? В квартире. А по балкону туда можно залезть? Можно. Так, в любую минуту деньги могут украсть. Поляки ни за что не поверят. Все соседские квартиры пусты. Лезть по балкону? Но если советского подполковника возьмет полиция — не расхлебать никогда! Лето. 35 градусов. На посольской машине рванули за 40 км на дачу к хозяевам квартиры за ключами.

ПОЛКОВНИК Л.: Напарник уехал за Наташей и деньгами. И пропал. Ждем. Поляки нервничают. Я еле жив от флюса. Польский коллега смотрит и говорит: «Знаешь, я специалист по трупам, у тебя очень плохое воспаление, каждую минуту может пойти в мозг и — конец». Везут в госпиталь. Там ни в какую: суббота, стоматолога нет, да еще русский, да еще из КГБ. Наконец, нашли врача: «Ложитесь, сейчас дадим наркоз и прооперируем». Я: общий наркоз? Врач: конечно, общий. Так, думаю, они же под наркозом могут из меня любую информацию вынуть. Нет, говорю, передумал, уже почти не болит. А температура у меня под 40, а на улице — 35. И партнер пропал, и Наташа, и деньги...

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО

Все нашлись. И деньги целы. И билеты достали на поезд. Наташе об отъезде сказали только за 30 минут. Чтобы никого не предупредила.

С.: Хочешь — верь, хочешь — нет: у меня вагон 13, место 13.

Сами предложили полякам полный шмон, чтоб те убедились: вывозят только законные 10 000.

Но не исключена слежка за Наташей. Чтоб не вызвать подозрений, польским таможенникам пришлось нескольких женщин подвергнуть полному личному досмотру.

Вот и Брест. Ну, наших-то таможенников уговаривать не надо. Они и так всех шмонают без пощады.

С.: В Варшаву ехали — рядом немцы-репатрианты, семья, простые люди. Вошел таможенник: что везете? Это нельзя, это нельзя, покажите валюту. Отец семейства предъявил 270 марок — все, сколько есть. Паразит хотел все забрать, но потом на 150 согласился.

— Взятка?

— А то.

— А вы что же?

— А что я? У меня ж никаких документов. Сняли бы с поезда — как бы я догонял?

И теперь, на пути домой, таможня бдила. Наташа предъявила 10 000 долларов. Розовый таможенник обрадовался.

— Ого! Пройдемте.

Явно хотел поживиться. Скучно рассказывать, как отбились.

Теперь мучил новый страх. Если бандитское наблюдение засекло отъезд Наташи — значит, по их понятию,— в поезде баба, у которой 150 000 долларов — 4 500 000 рублей. Возможен ночной налет на любой станции.

Ну, все-таки дома — возможности не те, что в Польше. Посадили в вагон спецназ. Всю ночь ребята с автоматами дурели в тамбурах. А в вагоне...

А в вагоне Наташа. Таблетки уже не пьет, а вот выпить ей необходимо. Бутылка водки была с собой, кончилась. Подполковник С. пытается ей инструкции внушить на всякие разные ситуации, а Наташа желает добавить.

Понеслась к проводнику. Тот: водку дам, но сначала дай. И берет ее за красивые места. Наташа ему: не будь гадом — я к умирающему мужу еду. Ладно, дает проводник коньяку бутылку. За 72 рубля. А советских деревянных у них всего 50. Ладно, отдам за 50, но мне стакан нальете. Сам налил себе проводник полный чайный стакан (полбутылки), выхлебал и ушел.

Утром в понедельник были в Москве.

Окончание следует.



На бульваре встречаются два генерала-пенсионера.

— Помнишь, Коля, как нам в первую мировую войну в окопах давали такие таблетки, чтобы мы о бабах не думали?

— Ну как же, помню, помню. Такие розовые.

— Да, так знаешь, они только сейчас на меня стали действовать.

В сумасшедшем доме один больной на обходе жалуется врачу:

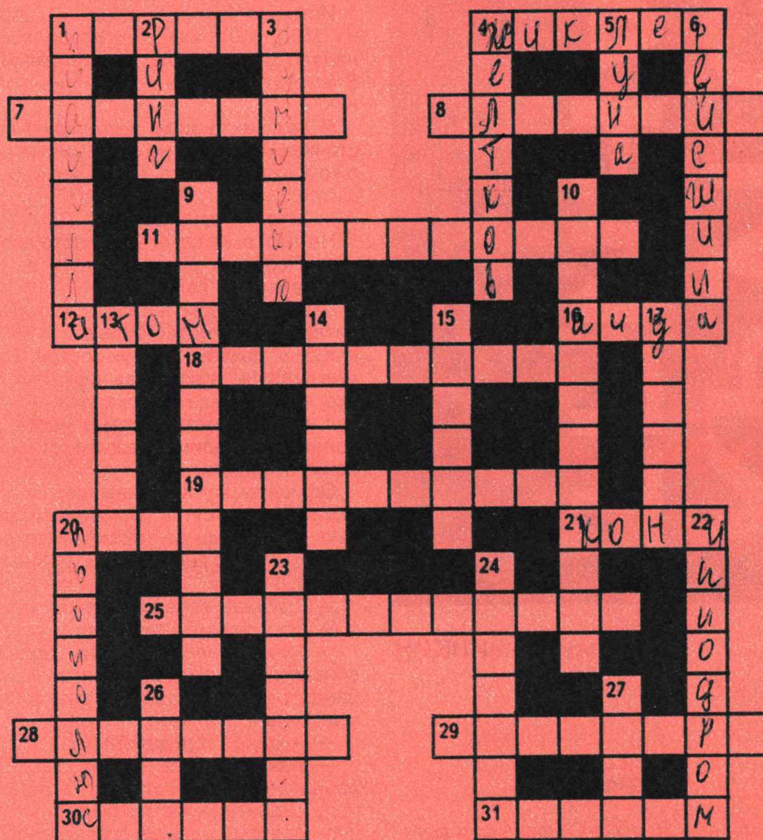
— Безобразие, ко мне в палату вселили больного, который каждую ночь изображает светильник.

— Ну и пусть себе изображает.

— Да, но я не могу спать при свете.

Муж приходит домой обедать. Жена сообщает, что ветром сломало телеантенну. Он полез на крышу и сорвался с шестнадцатиэтажной высоты. Летит мимо окна своей квартиры и кричит жене:

— На меня не накрывай!



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Австрийский композитор, скрипач и дирижер. 4. Деталь для дозировки топлива в карбюраторе двигателя внутреннего сгорания. 7. Советский писатель, общественный деятель. 8. Река в США. 11. Город в Челябинской области. 12. Мельчайшая частица химического элемента. 16. Опера Д. Верди. 18. Государство на юго-западе Азии. 19. Прибор для измерения светового потока. 20. Столица европейского государства. 21. Русский юрист, выдающийся судебный оратор. 25. Середина шахматной партии. 28. Симфоническая поэма А. Н. Скрябина. 29. Хребет в Южной Австралии. 30. Рыба семейства карповых. 31. Химический элемент, лантаноид.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Механический музыкальный инструмент. 2. Площадка для бокса. 3. Воинское звание. 4. Персонаж рассказа А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 5. Естественный спутник Земли. 6. Чертежная линейка. 9. Наука о лекарственных веществах и их действии на организм. 10. Озеро в Таджикистане. 13. Спортивная игра. 14. Киноактер, народный артист СССР. 15. Станковая гравюра или литография, оттиск, отпечаток. 17. Старшина дипломатического корпуса. 20. Горный воск. 22. Место для конских бегов и скачек. 23. Сравнительная величина, мера, предел. 24. Малая планета. 26. Река на Дальнем Востоке СССР. 27. Птица с веерообразным хохолком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Норматив. 8. «Работник». 10. Система. 11. Кротков. 12. Летка. 13. Сервис. 16. Рябчик. 18. Течение. 19. Волейболистка. 22. «Контора». 23. Слойка. 25. Титова. 27. Дюшес. 29. Отделка. 30. Траншея. 31. Градация. 32. Политика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водитель. 2. Качели. 3. Финал. 4. Марка. 5. «Володя». 6. Риторика. 9. Четверостишие. 14. Водолей. 15. Стрелка. 16. Реостат. 17. Банкнот. 20. Культура. 21. Довженко. 24. Колчан. 26. Икария. 27. Давид. 28. Строп.

ГАММА ПРЕДЛОЖЕНИЙ



ПРОДАЕМ импортные товары народного потребления: одежду, обувь, бытовую технику (минимальная партия закупки на 1 млн. руб.)

ПОСТАВЛЯЕМ оборудование фирм Европы и США:

– мясоперерабатывающие линии производительностью 1–4 т мясопродуктов в смену (колбасы вареные и копченые, сосиски, мясные полуфабрикаты);

– скотоубойные и колбасные отделения.

Возможны строительные работы. Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Оплата в рублях.

СТРОИМ на долевых началах заводы по производству керамического кирпича. Внедряем разработки и технологии на максимально выгодных для разработчиков условиях. Создаем торгово-промышленные филиалы и представительства в областных центрах.

ИНТЕРЕСУЮТ поставки советских товаров народного потребления, продуктов питания, пиломатериалов, конторские, производственные, складские, жилые площади в областных центрах и крупных городах на бартерных условиях (рассматриваем предложения только от производителей, владельцев или их полномочных представителей).

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству инофирмы, занимающиеся поставками товаров, оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции, древесины; производящие оборудование по производству товаров народного потребления, приглашаем на конкурсной основе специалистов в филиалы и представительства компании.

Телефоны в Москве: 210–46–97, 397–62–65, 392–95–68, 396–02–83, 462–10–21, 392–10–95.

Телефон для инофирм: 354–95–18.

Факс (внутренний) (095) 395–26–02. Факс (международный) 2002216 OPUS 001067. Телекс 411700 OPUS 001067.

Началом деловых контактов станут ваши письменные предложения в наш адрес. 109104, МОСКВА, ул МЕЛЬНИКОВА, д.7.



1 руб. Индекс 70663